ЛЕВ
КОНСОН

КРАТКИЕ ПОВЕСТИ

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Консон
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - Пояснение слов
- notes
  - 1
  - 2

Лев Консон
КРАТКИЕ ПОВЕСТИ

ЛЕВ КОНСОН

КРАТКИЕ ПОВЕСТИ

LA PRESSE LIBRE
PARIS

I

Только в кино да в литературе можно встретить такого красавца: светлые вьющиеся волосы (ему разрешали их носить), глаза голубые, брови черные, папаха набекрень. Стройный, лихой, дерзкий. Трудно было не залюбоваться им, герой да и только. На работу ходил редко. Блатные уважали, да и начальство считалось с ним… Для всех он был Соловьем-разбойником, но я его знал иным. Он иногда приходил в наш барак и тихо рассказывал мне о Москве, о театре, о литературе. Мне он всегда был непонятен…

Бригаду гнали с работы. Навстречу гнали Печерский этап. Колонны поравнялись и стали перекликаться:

— Эй, Карзубый! А Валерка-то ссучился!

— Врешь, Иван Хохол с Нюркой живет!

— Шурика землянули?

Конвой пытался перекричать, требуя, чтоб заключенные замолчали. Отчаянный лай вохровских псов включался в эту какофонию. И все же наша брала:

— А шнифт кто тебе выбил?

— Не дай Бог попутаю на пересылке!

— Сам падл юга!

— Лепеху когда отдашь?

— Эй, Нос! А это кто в папахе?

— Наш, голубых кровей! С Копченым хавает!

— Как фамилия, уж не Федоров?

— Федоров.

— Гад, я его с ходу уличил. Следователь. Он мне в Таганке срок мотал…

Я никогда не видел лица белее этого, я никогда не знал, что лицо может быть белым таким. Молча колонна дошла до лагеря. Вечером, на лошади, его мертвое тело отвезли в лес.

Рыбонька любила жевать смолу. Никола-Свист жил с Рыбонькой. Жил, да вот изменил. На работе Никола спал. Рыбонька топором отрубила ему голову. Взяла ее за ухо (волос-то не было) и принесла конвоирам. Говорит: «Заберите, а то подумаете, что в побеге он».

Она и на следующий день жевала смолу.

Она все время жевала смолу.

Когда нас гоняли копать картошку, то мы скребли ее стеклом и ели сырую. Очистки в землю зарывали, а то били очень.

В поле с краю дороги росла капуста. Когда бригада бросилась к ней, то двоих убили из автомата.

Шли этапом. На ночь загнали в пересылку. У одного были золотые зубы, так ему в уборной лопатой их выбили и унесли куда-то.

У блатных были ножи. Их человек семь было. Конвой специально сажал их в вагон к новеньким, и блатные отбирали у них все, что имело для них хоть мало-мальскую ценность. Награбленное отдавали конвоирам, а те им за это приносили жратву, махорку, водку и на ночь пускали в женский вагон.

Карзубый жил на верхних нарах (как и положено по рангу). Хорошо было тем, кто жил под ним, на нижних. Кормили винегретом, а Карзубый морковку выплевывал на пол (это у них хорошим тоном считалось). Правда, вечером нащупать морковку было трудно (землянку освещала коптилка). Зато когда с верхних нар трассирующей пулей летел окурок, то множество теней накрывало его.

Принесли завтрак, а у Вовочки пропала ложка. Вовочка рассердился и стал требовать ложку у мужика, что жил под ним. Тот сказал, что ложку не брал. Вовочка кулаком сбил его с ног, встал сапогом на спину, а другим принялся вбивать голову в пол (сам же за нары держался, чтоб не упасть). Кровь хлынула из горла.

Мы с трудом доглатывали свой завтрак.

На нашей колонне был главным Шагай Выше. Чем-то он провинился перед своими. Урожай гвоздем вырвал ему горло.

Урожай страшно нервничал, когда играл в карты. Как-то кошка из-под нар выгребла крысят. Урожай бросил карты, схватил крысенка и, перекусив, выплюнул.

Была у нас женщина лет тридцати. Некрасивая, косая. Ребенок был у нее. Белье приходила стирать. Урожай жил с ней и на людях был груб, но любил наверное. Он самое вкусное не ел, а берег ее малышу. Как-то проигрался весь, а сапожки красные не стал проигрывать. Только я знал, что он их отдаст ребенку.

Шли с работы. Морозило очень. Все спешили добраться до

лагеря, чтоб согреться горячей баландой и растянуться на нарах. Шли, а тут мальчишка-украинец стал отставать. Конвой велел тащить. Мы и тащили, а он совсем сник, да и мы выбились из сил. Стемнело. Конвой злится, собаки лают, а он не встает. Обидно было из-за него мерзнуть, да так обидно, что кто-то закричал, кто-то ногой пнул, и все тут бросились бить, топтать. Силы-то откуда взялись… Потом срубили елку, привязали к ней мальчишку и волоком дотащили до лагеря. А здесь, как назло, привезли кинопередвижку и баланду нам не дали до тех пор, пока не прокрутили всю «Большую жизнь». Это картина так называлась.

Долбенков, старый коммунист, долгие годы писал Сталину жалобы. Все верил ему. Да так и умер на нарах. Умер раньше Сталина.

Начальник лагеря собрал всех музыкантов в агитбригаду. Под грохот фаустовского марша нас пинками и палками выгоняли на работу, а отказчиков волокли в изолятор. Под звуки марша «Аиды» нас, голодных и раздавленных, обыскивали у вахты, а отказчиков волокли в изолятор.

В клубе-столовой на сцене ставили стол. За стол сажали штатного рекордиста (из стукачей, конечно), и тот на глазах у всех пожирал огромные квадратные картофельные запеканки. Рядом стоял начальник КВЧ (то есть, культурно-воспитательной части). Голодный оркестр за сценой выводил «Трубадура».

Начальник изолятора Ян-Луна и два его кореша решили утолить половую потребность. В изолятор посадили корейца-отказчика. Грозя ножом, они заставляли его ртом утолить их похоть. У Яна- Луны кореец откусил начисто.

Не было бумаги, а умирали часто. Тут любой лек- пом в тупик станет, ведь акты писать не на чем. Воспоем же славу тому, кто первым догадался писать акты на финстружке.

Главное, чтоб сучков не было.

Забавный случай. Насмешил дядя Паша. Сосед взял у него трубку покурить. Покурил и умер. Ребята потащили покойника в санчасть, а дядя Паша суетится, все трубку хочет забрать.

— У него моя трубка, отдайте трубку. Дайте я найду. Трубку мою отдайте.

Ребята дядю Пашу отталкивают, а он все к покойнику лезет.

Весь барак смеялся. Вот чудак.

Родилась в Литве. Когда посадили родителей, то она в классе опрокинула бюст вождя. Так она стала политической. Изящная девчонка и пела хорошо. У нас сформировали агитбригаду и девушку привезли к нам. А тут Чума и Шкода проигрались в карты. Чтоб не зарезали, им нужно было срочно уезжать. Вот они и придумали: пришли в агитбригаду, затащили девушку в сушилку. Сопротивлялась, а у них нож был. Ее, истекающую кровью, изнасиловал Шкода, а Чума насиловал мертвую. Их увезли в центральный изолятор.

Начальник запретил выдавать новые бушлаты работающим на лесосплаве. Уж очень часто тонули.

Если конвой собьет с тебя шапку и отшвырнет ее в сторону, не вздумай идти за ней! Будешь убит «при попытке к бегству».

Когда река начинает замерзать, очень тяжело лезть в воду, скалывать лед и выкатывать бревна на берег. Видя, как нам трудно лезть в воду, конвой всегда помогал, загоняя прикладами. Сами мы б не могли.

Однажды наш начальник уехал, а на его место прислали другого. Пришли на работу, а конвой не решается при новом начальнике загонять нас прикладами в воду. Мы ж ни с места. Начальник стал убеждать нас, упрашивать. Потом он что-то сообразил и спрашивает, не хотим ли чего? Мы посоветовались между собой и нерешительно сказали, что хотим хлеб с сыром. Начальник дал конвоиру денег и велел принести из вохровского ларька сыр с хлебом. Принесли, разделили меж нами, и мы все съели… Съели, а в воду лезть не можем.

Начальник стал стыдить:

— Да как вам не стыдно, ведь мы договорились, нечестно так, сыр-то съели и хлеб. Мы молчали, а он все стыдил. Потом он что-то закричал, выхватил пистолет и стал стрелять в воздух… Конвой бросился к нам, и мы оказались в воде…

Мы скалывали лед, выкатывали бревна…

На берегу сидел начальник. В руке начальника висел пистолет. Начальник плакал.

Хуан писал жене письмо. Пишет, что стал политическим, что получил десять лет, чтоб не ждала его, а выходила замуж. Жена ответила, что не имеет права он ей так писать, что любит, что будет ждать.

Я спросил с досадой: «Ты зачем жену обидел?» Он ответил: «Я

должен был вот так написать, а она должна была так вот ответить».

В камере, что напротив, сидела женщина. Кричала очень. Наверное, с ума сходила. Детей все вспоминала. Звала. Тяжело было слышать, особенно вечером. Уж охранники старались, рот ей закрывали, а все равно тяжело было слышать.

Гнали этап с бухты Ванино. Людей шатало (а ветра не было). Когда пустили в зону, то, спотыкаясь, падая, заковыляли к помойке (что около кухни). Серой массой шевелилась помойная куча. Глотали все, что глоталось. Комендант гнал от помойки, бил палкой, ногами, а они — взрослые люди — ползали, скулили, плакали и ели…

Тут-то и пришла на помощь смекалка — кухонные отбросы стали вывозить за зону.

Мы любили старика Власова. Шутя звали его Декабристом. Он еще при царе сидел в тюрьмах, на каторге был. А после революции была дискуссия о профсоюзах, и он занял не ту позицию. За это его никогда не выпускали из тюрем, лагерей.

Всю свою жизнь жена ездила за ним.

Барак был переполнен, и нашему этапу пришлось разместиться на полу. К Лехе охрана пускала бабу. Он жил с ней на глазах всего барака. Чтоб ночью не ходить к параше, они мочились в котелок прямо на нарах. Когда котелок наполнялся, они содержимое выплескивали на пол. На нас, то есть.

Очень высокий и очень худой, в рваной папахе и в рваной бурке, Иогансон выделялся среди зэковской массы. Зная, что в прошлом он был командиром, каждый охранник и каждый зэк считал своим долгом (то есть, лестным для себя) толкнуть, ударить его. Он очень тяжело переносил голод. После работы, вечером, он приходил ко мне и мы молчали. Ему страшно тяжело давался голод.

Иногда говорил о Боге. Соблазн веры был для него велик. Как-то он рассказал мне, что командовал кавалерийским корпусом. Потом война началась. Попал в окружение. Вырвался. Сформировал партизанский отряд. Действовал в Бессарабии. Однажды сон приснился: стоит он у края дороги. Бойцы мимо идут, лошадей ведут под уздцы, на него не смотрят, глаза в землю потупили. Прошли, и тут три старушки подходят. Вдруг пламя их охватило, а в пламени крест…

Позже отряд остановился возле церквушки. Обедали у священника. Сон ему рассказал. Священник сказал, что ждут меня большие страдания. Я не верил, война к концу шла…

Вы не слышали, Иогансон жив?

Мне давно хотелось рассказать этот эпизод, да трудно он у меня получается.

В 1950 году из многих лагерей согнали нас, политических, на строительство железной дороги Тайшет — Братск. Зимой мороз, летом мошка, и всегда голод, и всегда непосильная работа. Обычную охрану у нас заменили краснопогонниками и прямо за зоной выкопали большой котлован (может, для устрашения, может, еще для чего, а может, и правда, перебить собирались — обстановка в мире была напряженная).

Был у нас Виталий Веслополов, из Хабаровска этапом прибыл. Ничего примечательного, а вот учуяли что-то люди и потянулись к нему. Я думаю, потянулись еще и потому, что молчать он умел как-то особо выразительно. Все нам казалось, что за этим молчанием скрывается то заветное, до чего сами мы додуматься не могли.

Зимой нашу бригаду гоняли на разгрузку цемента. Разгружали совковыми лопатами прямо из вагонов в тачки. Напарником моим был Виталий.

Помню, работали в ночную смену. Неожиданно свет погас. Конвоиры всполошились, забегали и заперли нас по вагонам.

Темно, холодно, сидим в цементе, молчим. Вдруг Виталий спрашивает, нет ли у меня на воле знакомого студента и не могу ли я дать его адрес. Я спросил, зачем ему это, и он, волнуясь, стал объяснять мне, что люди добры, что люди обмануты, что если сказать им правду, если открыть им глаза, то разве удержались бы эти лагеря, разве удержалась бы такая система! Он нашел выход. Он нашел возможность отправлять письма, минуя лагерную цензуру. Он уже кое-кому писал, он Твардовскому писал, он писал студентам филологического факультета. Пока еще все тихо, но он опять писать будет. Если ж и дальше ничего не изменится, то, видно, письма где-то пропадают, где-то перехватывают их. Тогда писать бесполезно.

Он все продумал, он все решил, он пойдет в побег. Он к празднику доберется до города. Он на праздничной площади скажет людям правду.

— Нет, ты не знаешь людей, не говори так о них. Мне бы только до города добраться. Они не предадут меня.

Весной тело его долго лежало у вахты.

В городе было спокойно.

Посади змею в бамбук, она и там извиваться будет.

Китайская пословица

Да не подумайте, братцы, что в лагерях страдали только невинные, страдали и виновные. Взяточник отбывал свой срок в хлеборезке, растратчик на складе. Блатные искупали свою вину, работая пожарниками, бригадирами, вахтерами, дневальными. Кто при немцах сотрудничал с фашистами, тот после в лагере сотрудничал с коммунистами. Комендант нашего лагеря Романовский страдал за то, что и при нацистах был в лагере комендантом.

Страдали все.

II

МИША КРЮЧКО

Это просто название такое важное: Центральный тайшетский следственный изолятор. На самом же деле это всего-навсего длинная землянка (вроде овощехранилища), оцепленная колючей проволокой и дощатым забором. По углам вышки, ну, и все как надо. Начальником изолятора был Дегтярев (дрянь мужичок), а вот коза у него была хорошая. Паслась во дворе. Утром нам хлеб давали, кто-нибудь из зэков в форточку высовывал пайку, и коза тотчас подходила. Тут же к ее рогам привязывали письмо, или курево, или еще что (я как-то гимнастерку привязал) и стучали в соседнюю камеру, чтоб там так же хлебом приманили и забрали передачу или постучали бы в другую стену, чтоб посылка шла дальше (до своего адресата). Пару месяцев коза нам служила, а потом стукачи ее продали. Дегтярев ее к вышке стал привязывать после этого. Связь на этом не прекратилась. Переписка продолжалась, жизнь шла свои чередом. Была вражда, была любовь, люди космос понять пытались, стихи сочиняли, ревновали, с ума сходили, люди истину искали, люди к Богу шли, люди тапочки шили.

Раз в неделю для мытья полов нам давали веник, тряпки и теплую воду. Я с нетерпением ждал этого дня. В тряпках попадались лоскуты разных цветов. Я выдергивал из них нитки и вышивал целые картины болгарским крестом (иголку делал из проволоки, которой веник был связан). А еще я музыку писал, но не знал нот, так что пришлось свои придумывать.

Каждый из нас знал все, что делается в других камерах, а вот псарня целый день шныряла от камеры к камере. Подслушивала, подглядывала по два раза за смену перерывала все, раздевала нас догола, даже в зад заглядывала — и ни разу врасплох нас не застала. Я все это к тому, что изолятор вроде был и небольшой, а в нем целая жизнь была. Я не могу рассказать, куда мы добро свое прятали во время обыска, как письма переправляли и где бумагу брали. Не могу рассказать и многого другого. Не могу рассказать, потому что изоляторы продолжают стоять на страже интересов трудящихся, а трудящиеся продолжают сидеть в них.

Я лучше расскажу вам то, о чем все знают. Я расскажу вам о Мише Крючко.

Камера моя находилась как раз напротив дежурной, так что когда приводили новенького, то я первым узнавал о нем больше,

чем кто-либо из нашей изоляторской братии. Я слышал, как новенького обыскивали, какие вопросы ему задавали, что и как он отвечал, а если его еще и стригли, то тут уж совсем становилось интересно, значит, зэк свеженький, только с воли.

Помню, принесли черпак темной жижи, ужин то есть, и только взялся я за ложку, как в коридоре послышались шаги, да не вертухаевские, а робкие, наши. Кажется, двоих привели. Потом их обыскивали, стригли, спрашивали. Я прижался ухом к двери, затаил дыхание и ловил каждый звук. Люди — это так интересно. Люди — это целый мир, а я так соскучился по нему за полтора года своей одиночки.

Стецив Василь, совсем молодой, говорил с украинским акцентом. Бендеровец. Другой, постарше, наверное тоже украинец, но говорил без акцента. Фамилия Крючко, звать Мишей. Статья политическая, но не бендеровец. Долго с ними возились, а потом вдруг загремел ключ в замке моей камеры, дверь открылась так стремительно, что я еле успел отскочить. Затем дверь закрылась. На пороге стоял человек лет двадцати пяти — двадцати семи. Широкоплечий. Глаза впалые, черные. Лицо волевое. Гимнастерка на нем, галифе, ноги обмотаны тряпками и в галошах. Это был Миша Крючко, а Стецива повели в другую камеру. Привели их вечером, так что ужин им не полагался. Я предложил Мише разделить еду со мной, но он ничего не ответил. Он сел у порога на пол и стал рассказывать то, что его давило, то, что не рассказать он просто не мог.

Он летчик. Одно время учился с Василием Сталиным. Преподаватель называл Василия сундуком, и наверное за это его посадили. Группа курсантов написала заявление в защиту преподавателя и тоже оказалась в тюрьме. Десять месяцев длилось следствие, а потом немец подошел к Москве. Кому- то нужно было летать, и Мишу выпустили на фронт. Воевал, получил героя, и конец войны их авиационная часть встретила в Венгрии. Все бы и дальше было хорошо, но был у них майор Зеленский. Он считал, что после войны нужно жизнь строить иначе, что старый порядок себя изжил; он говорил, что это раньше коммунистическая партия была прогрессивной, теперь же она тормозит развитие страны. Ради лучшей жизни нужно убрать эту партию. Зеленского окружали люди, вели споры. Они себя прогрессистами называли.

Потом был суд. Зеленского и еще нескольких офицеров расстреляли, а остальным дали предельные срока.

Так Миша попал в Тайшетский лагерь.

За зоной, у самой речушки, начальство решило построить водокачку. Нагнали людей. У Миши было высшее образование,

ему доверили должность вроде прорабской, так Миша возглавил строительство водокачки.

Недалеко за оцеплением стоял поселок. Местные ребята рыбу в речушке глушили аммоналом. Миша достал у ребят взрывчатку и сделал четыре гранаты. О побеге он думал с первого дня и поэтому к людям присматривался. Желающих идти в побег набралось человек пятнадцать. Готовились тщательно, и все, что нужно было взять, распределили между собой.

В назначенное утро, по дороге на работу, Миша дал предварительную команду: «Ведра взяли?» (Ребята зажгли бикфордовы шнуры). Затем Миша опять крикнул: «Взяли?» Гранаты полетели в конвоиров. Всем нужно было бежать в лес, но из соседней просеки прогрохотала автоматная очередь, многие испугались, и бригада плюхнулась на землю.

До леса добежали только пять человек: из Маньчжурии русский эмигрант, кореец, Витек блатной, Стецив Василь и Миша Крючко. У них был нож, была коробка спичек и пустая банка из-под консервов. Остальное осталось там, у ребят на дороге. Бежали целый день, все им лай собачий слышался. Сил не было, но страх гнал дальше, вглубь, в тайгу. Еды не было совсем, лягушек, и тех в тайге не оказалось. Рвали ягоды, грибы. На четвертый день маньчжурец сказал, что сердце у него останавливается, что дальше идти не может. Ему дали несколько спичек, показали где север, где юг и оставили под лиственницей. А тут сентябрь, дожди, начались холода. Спички кончились. Пришлось в банке пробить отверстия и в ней поддерживать огонь, подбрасывая гнилушки и размахивая банкой на шнурке, как священник размахивает кадилом в церкви. Где-то волки выли, но вид у бегущих был настолько дикий, что они не решались подойти ближе.

Как-то кореец съел гриб и обезумел. Всю ночь кричал, лез в костер и лишь под утро потерял сознание. Витек сказал: «Ну что калеку сумасшедшего оставлять в тайге? Вы идите, я добью его. Добью, чтоб не мучился».

Ребята пошли. Вскоре Витек догнал их и сказал, что теперь не до шуток, что все умрем, если не съедим корейца, что все равно нет его в живых, что случаев таких полно было. Ну, а если вы такие умные да чистенькие, то подыхайте, я один в живых останусь.

Они съели корейца.

Это было на втором месяце побега.

А потом они боялись казаться слабыми, боялись спать, они друг друга боялись. Пожалуй, в самом выгодном положении был Миша, так как только он знал, как выбраться из тайги. Как-то

Витек шепнул Мише, что дела совсем плохи, что нужно что-то думать, иначе все помрем.

Вечером моросил дождь, холодно было. Миша крепко обнял Витька (чтоб спать теплее было и чтоб чувствовать, когда Витек за ножом полезет). Нож Витек положил за пень, но Миша изловчился и затолкал его под корень. Стецив сидел у костра и пытался тряпками связать рассыпающийся ботинок. Горел костер, и Миша уснул. Проснулся Миша от страшного крика. Костер догорал, Витек лежал на спине. Стецив допиливал ему горло ножом.

— Что ты делаешь? — закричал Миша.

— Если бы не я, так он бы меня…

— Да ты откуда знаешь? Кто сказал тебе?

— Бог мне это сказал, — прошептал Стецив. И зарыдал.

Моросил дождь. У дымящихся коряг лежал Витек.

У дымящихся коряг на коленях молились Богу бендеровец Стецив и Герой Советского Союза Миша Крючко.

Теперь боялись они друг друга пуще прежнего. Спать совсем не могли. Перед Богом в дружбе клялись, клялись не убивать друг друга. Клялись и молились, молились и клялись. А потом вдруг кончился лес, вышли они на опушку, село увидели. В поле женщины работали. Опустились на колени, стали Бога благодарить за спасение. В поле картошка оставалась в буртах, питались ею. Вели себя осторожно, но что-то местные заметили. Пришлось от греха подальше вглубь леса уходить, а те с собаками, да с ружьями лес прочесывать пошли. Рыскали целые сутки, да Бог миловал.

В пятнадцати километрах от поселка нашли они избу. Жила там старушка, она приютила ребят. В погребе картошки было полно, так что жить было можно. А им бы только весны дождаться, весной они на Украину пойдут. Там в лесах бендеровцы. Стецив места знает… Днем из избы не выходили, а если воздухом подышать да поразмяться, так только ночью.

Как-то шли они по дороге, луна светила. Вдруг лошадь, запряженная в сани, в санях старик. Они остановили лошадь и сказали старику, что убить его придется.

— Что вы, Бог с вами, сынки. Нам тут все уши прожужжали про вас. Говорят, враги народа, а мы сами такие же враги. Все село у нас из ссыльных. Вон картошка померзла на полях, а мы голодные сидим по избам, тошнотиками давимся. Свое же красть с полей приходится, да только мерзлое и ночью. И я оттрубил восемь лет в лагерях за эту самую за политику. Грех на душу не берите, сынки.

— Ладно, не тронем, езжай, батя, но только помни: молчи.

Через сорок минут ввалились в избу милиционеры, комендант и к старушке:

— Где они?

А она:

— Нет у меня никого.

На нее матом и по щеке.

Она ни в какую. Ее опять по лицу, да за волосы. Комендант оттащил милиционера от старушки и говорит:

— Ну, не убивать же ее, суку, пусть власти сами с ней разбираются, а мы давай дом обыщем.

В сенях это было, а погреб под ними. Там и нашли их в картошке.

Вечером во время смены дежурства присутствовал Дегтярев и еще начальник следственного отдела. Дегтярев показал на Мишу и говорит:

— Это, товарищ майор, людоед.

Майор сказал:

— А как бы ты, Дегтярев, поступил?

— Что вы, товарищ майор; я б скорей повесился.

— Не ври, Дегтярев. Это судьба так повернула. Вся разница меж вами та, что они стали есть человечину на втором месяце, а ты б стал жевать ее на втором дне.

Несколько секунд длилось молчание. Потом Дегтярев засмеялся. Засмеялись и дежурные — видно, понравилась им шутка начальника.

КАРТИНА

Я не очень задумывался над смыслом жизни вообще и моей жизни в частности. Стыдно признаться, но талантливым завидовал, сам хотел быть ярким, пыжился, да вот не получалось. Если бы не изолятор, так и прожил бы, не узнав своего предназначения. Понадобились долгие месяцы одиночной камеры, чтоб убедиться, что и я не обойден Божьей милостью, что и в меня Господь заронил Свою искру. Теперь о деле.

Когда сидишь в следственном изоляторе, то очень важно держать связь с соседями. К сожалению, не все умеют перестукиваться. Вот поэтому нужно знать слабые места в стене. Желательно также, чтоб места эти были под нарами или прямо в углу за парашей (то есть, по возможности были недоступны взору «волчка»). За два года изолятора я исковырял стены многих камер. Вот тут- то и воссияли способности, раньше дремавшие во мне. Достаточно было мне взглянуть на стену, чтобы определить

нужную точку. В этом деле во всем изоляторе (и может быть, не только в нашем!) не было мне равных.

Если кого-либо заинтересуют тонкости этого ремесла, то придется мне остановиться на них подробнее (возможно, в отдельной брошюре). Предупреждаю, что тут все не просто, процесс этот сродни творческому, и речь здесь пойдет не только о проволоке, которой перевязывалась метла, и дужке от параши, но и о таких понятиях, как о вдохновении, прозрении, интуиции, голосе свыше.

Вы еще отверстия не проковыряли, а уже должны знать, чем его замазывать и закрывать будете. Сделать это надо так, чтобы к проверке место это совершенно не выделялось. Проверялась же камера два раза в день. На первых порах не все было гладко, и на пути к совершенству мне не раз приходилось делать остановки в карцере. Все же, оглядываясь назад, хочу сказать, что все трудности и страхи ничего не стоили по сравнению с блаженством, которое испытывал я, стоя или лежа у готового отверстия. Легонько барабанишь в стену, прикладываешь ухо и слышишь голоса иных миров…

Рисковали каждую минуту и поэтому говорили самое нужное, самое-самое… Изолятор всегда переполнен, а тут еще привезли большую группу, обвиняли ее в принадлежности к ордену «Креста белых лилий». Я в это время как раз сидел рядом с камерой смертников, в ней из этой группы сидел Щукин, потом Мелких, Златай. Златай просил рассказать о нем жене, родным, но я адреса не запомнил и просьбу не выполнил. Из Венгрии он. Глеб Слученков был из нашей группы. Чем-то женщины ему не угодили, и уж если он говорил о них, то только гадости. А как попал в камеру смертников, так удивил меня. Просил найти в Рязанской области село Шатское, а в нем Александру Илларионовну Шалаеву и сказать ей, что любил он ее всю жизнь и думал только о ней. Смертную казнь ему заменили, а расстреляли уже потом, в Джезказгане во время восстания. Я был в селе Шатском, она там учительницей работает, говорят, семья хорошая, муж, двое детей. Я не решился передать ей весть с того света. Пусть живет спокойно. Но до сих пор не уверен, что поступил правильно.

Потом в другую камеру меня перевели, женщина сидела рядом. Плакала очень, ребенок дома у нее. Мне жалко было, успокаивал как мог, рассказывал, как нужно вести себя на следствии. Пытался помочь. А потом стал волноваться, когда ее долго держали у следователя, злиться, когда дежурный хамил ей, ревновать, когда вертухай уводил ее в баню. Как-то вывели ее мыть полы в коридоре, она улучила момент и открыла «волчок»

моей камеры. Так вот и увидела меня. А я ее не видел никогда. Потом она сказала, что благодарна мне, что спас я ее, что я хороший и что полюбила меня. Я сказал, что и я люблю ее. Мы многое сказали в те дни и было нам хорошо, но только мучительно очень. Потом увели куда-то. Наташей звали ее.

О многих хотелось бы рассказать, но это как- нибудь потом, и о Леве Алексееве обязательно расскажу. Человек он дикий, дремучий, умный. Человек он чрезвычайно интересный. Он слово знал свое, оно ему помогало. Рассказать? В изоляторе все передумаешь, всю прошлую жизнь переберешь, за будущую возьмешься. Все как надо разложишь, смысл найдешь и поймешь, что даже самая захудалая мыслишка, когда-либо посетившая тебя, была нужна и к делу пригодилась. Мне вот с детства, как помню себя, картина одна покоя не дает. Я не знаю, где это было. И не знаю, было ли это вообще. Думаю, что не было в моей жизни места для этой картины, но ведь прошли десятилетия, а она стоит перед глазами, и каждая деталь осталась на своем месте.

Недалеко от леса стоит двухэтажный дом. В левой его половине на верхнем этаже большая низкая комната. Оконные квадраты лунного света четко врезаны в пол. Паутина. Запустение. В дальнем правом углу комнаты лестница ведет на чердак. Люк чердака открыт, там тоже лунный свет. Он освещает лестницу, по лестнице спускается худой сутулый старик. Волосы белые, а от луны они еще белей. Он громко смеется, и смех его странен.

Я рассказал это Баркансу Никодиму, и он мне потом сказал: «Ты никому не рассказывай про эту картину. У человека должна быть картина, человек должен иметь свою картину. Никому не говори о ней».

Отверстие было под нарами. Я лежал там и думал о словах Никодима. Было тихо. Я не знаю, сколько это длилось. Потом открылась кормушка, и я услышал: «А ну, вылазь! Сейчас в карцер пойдешь!» Под нарами было хорошо, но нужно вылезать. А еще я подумал, что уж раз попался и уж если приходится вылезать на глазах у дежурного «Уха», то хорошо б это сделать хоть с каким-то подобием достоинства. Я вылез из-под нар на четвереньках, поднял голову и посмотрел в довольное лицо дежурного «Уха», потом поднял голову еще выше и громко протяжно залаял.

«Ухо» не врал, и если б действительно это зависело от него, то обещанный мне карцер я б получил, но решал не он, а Дегтярев. А Дегтярев с фантазией. Он даже свою нудную работу сумел сделать интересной. Именно в силу свой любознательности он посадил ко мне нациста из дивизии «Гитлерюгенд». Целый день Дегтярев не отходил от «волчка», а когда его сын пришел из

школы, так они вместе наблюдали.

Карл Пурзель и правда был фанатиком, но к тому ж еще и умным парнем, так что радости Дегтярев не получил (как бы хотел я, чтоб встреча эта не прошла для Карла бесследно).

А тут случай подвернулся не менее удачный: типа странного привезли. Он на лесоповале убил двоих. В изоляторе его сперва бросили в общую камеру, так он там старосту чуть не придушил. С тех пор держали его в одиночке. К нему никого не сажали и вообще старались не задевать. Он и так с поводом и без повода заводился моментально.

Дегтярев сказал: «Все стены ковыряешь? Додумался, теперь лаять начал. Грамотный очень. Не хочешь по-хорошему, поймешь по-плохому. В седьмую пойдешь. К Алексееву полоумному».

Повели меня в седьмую. Дверь открыли, втолкнули и быстро захлопнули. Псам интересно. Сынишка прибежал, а «волчок» один. Пришлось кормушку открыть. Туда при желании рыл пять можно втиснуть. Встал я у двери. Во рту пересохло. Боюсь шаг в камеру сделать. А сзади шипят, толкают, не видно им. Говорят: не стеклянный, загораживаю.

По камере метался человек чуть выше среднего роста, нос орлиный. Лицо может и не длинное, но глубокий шрам вдоль правой щеки делал его таким. Без рубашки, в шароварах, в сапогах. Он не обращал внимания ни на возню у кормушки, ни на меня, а все бегал и бегал. Потом, не глядя, бросил: «Ты по какой статье?» Я сказал: «Политика, 58-я». Он остановился, внимательно посмотрел и медленно протянул: «Зачем ты ерундой занимаешься? Ведь у тебя умные глаза». Затем прыгнул на нары и уж весь вечер не слезал. Кормушка захлопнулась, закрылся «волчок».

Попробую рассказать о Леве Алексееве.

Я толком не понял, как секта их называлась. То ли при Петре, то ли еще при каком царе, ушли от гонений на Дальний Восток. Жили родами в тайге. По соседству жили другие, но с ними не общались. Мельницы, капканы, самострелы — все делали сами. Калили, ковали; краски, лекарства, яды знали из чего добывать. Тайга богатая. Травы, клубни, корни, кора, ягоды, грибы. Всего полно. Все секрет свой имеет, только знать его нужно. Вот черемшу все знают, а ведь и она с секретом. Разная она. Есть черемша — на сон клонит; есть, что бодрость дает, а есть просто для еды приятная.

О Боге он говорил интересно.

— Дела добрые и злые делаются по воле Его. Бога никто не видел и мыслей Его не знает никто. Открывается Бог кому как. Мне вот в слове одном приоткрылся. Когда беда какая случается,

то слово это мне всегда помогает. Богу все нужно. Нужен ты и я. Злые дела моими руками, а добрые, может, и твоими делаются. Но только, что добром, а что злом окажется, нам знать не дано. Каждому Господь дал свой путь и пусть каждый идет своим. Завидовать не надо. Все беды оттого, что зависти много в людях. Все революции от зависти пошли. Свое считать надо, не чужое. О себе думать надо. Много ль другие думают о нас? Когда белка уходит на чужую делянку, то нам туда пути нет. Убьют. И мы убьем, если за белкой придут к нам. Вот так нужно. Только тогда и будет жизнь правильной, когда на чужое зариться перестанем.

Ты смотри, у нас земля и лес. У нас и вся жизнь земляная да лесная. А в других странах камня полно. Ну, что мы к ним полезли? Ведь вот беда какая от этой зависти пошла. Это от них к нам камень пришел. Это от него сердце наше таким получилось.

Что тут от религии, а что от опыта житейского, понять мне было трудно. Судил он обо всем твердо, мнение имел окончательное.

Много в его суждениях было противоречивого, дремучего, языческого, но, пожалуй, больше всего меня поражало полное пренебрежение к чужой жизни. Понять я этого не мог, но стыдно признаться, что и осудить не мог. Я всегда делил людей на добрых и злых, умных и глупых, красивых и некрасивых. Судьба же старательно подсовывала мне людей и обстоятельства, к которым было невозможно подходить со школьными мерками. Но ведь и не подходить с ними я не мог. Ведь если применить мерки более сложные, то окажется добро не добром, зло не злом. Эдак всю мразь оправдать придется. Вот у Миши Крючко беда была в побеге, и я сужу не его, а ситуацию. Тут так и так только. К сожалению, в рассказе о нем я этого ясно не показал. А ясное было, и вина моя, что не смог показать этого.

С Алексеевым же другое. Тут нет ситуации. Тут все другое. Совсем иное видение, иная цивилизация.

— В тот день приехали из города. Оцепили поселок. Старца взяли. Выгребли все.

В ту ночь убили отца и еще многих постреляли.

Мы с матерью пошли во Владивосток. Брат у нее там дворником. Город большой, но все чужое. Дядя говорит, что в Маньчжурии власти этой нет и леса на наши похожи. Пошел я туда. Мать у дяди осталась. Не мог я ее взять. Сам еще не знал, как жизнь складываться будет. Поначалу устроился мешки таскать на мельнице. Таскал года два. Потом стал думать, как жизнь свою наладить. А без денег как ее наладишь?

Стал учиться этой науке. Иду по следу. Петли распутываю. Случалось убивать. Только не сразу так просто получаться стало.

Теперь мне нож и палка ни к чему. Я вот этими руками, что хочешь сделаю. А тогда не умел.

Деньги появились. Копить начал. Через пару лет дом купил, женился. Родители ее в Харбине, эмигранты. Забот по хозяйству хватало, но мне сосед- китаец помогал. А больше ко мне никто и я ни к кому. Никто не знал, чем живу и откуда деньги мои. Жена только потом узнала. Как заболел, плохо мне было. Ночь, гроза, ветер того и гляди крышу сорвет. Все скрипит, раскачивается. Думал, конец. Смерть пришла. А тут беда: нет никого из рода нашего, исповедоваться некому. Пришлось исповедоваться жене.

Утром открыл глаза. На дворе солнце. Мне лучше. Тут ночь вспомнилась. Страшно стало за жену. Ведь если хоть словом обмолвится, то убить придется. Но вот не напомнила, даже виду не подала. Будто не было той ночи.

Жили хорошо. Ребенка ждали, а покоя не было все равно. Как мать вспомню, так места себе не нахожу. Шесть лет не видел. Решил пойти во Владивосток, а там, думал, быть может, удастся к себе ее взять.

Перешел границу. Шел всю ночь. Людей, поселков избегал. Где-то деньги, документы нужно доставать. Высмотрел дом. Захожу. Нет никого. Стал рыться. Вдруг дверь скрипнула. Смотрю, военный. Увидел и сразу за кобуру, но только ведь и я не ждал. Он, когда падал, так затылком об угол подоконника. Меня поймали потом, дня через два.

Мать я не видел.

Дальше не интересно. Тюрьма, этап, лагерь. Еще в этапе баклан один не разобрался. Пришлось сделать его. Я нарочно сделал красиво, чтоб другие видели. Сапоги мои ему понравились. С тех пор слух пошел, что лучше со мной не связываться. И воры о том знали, но все равно ухо приходилось держать востро.

В углу барака печь стояла. Между ней и стеной проход был узкий. Я туда топчан поставил, и, когда спать ложился, то головой к задней стене, чтоб голову мою достать было не просто.

Работали на лесоповале. Работа для меня привычная. Начальство приезжало смотреть. Хвалили. Зачеты обещали.

У меня все несчастья весной, в начале апреля случаются. Всегда помню, а тут совсем забыл. Из головы выскочило. Пришли на работу. Вижу, лес в штабеля сложен, а тот, что еще стоит, ждет, чтоб и его в штабель уложили. Пни стоят опозоренные, ненужные и все так голо, сиротливо, что жить не хочется совсем. Смотрит вся эта беда и не поймет, как это я оказался среди тех, кто тогда из города пришел. Смотрит беда в мои глаза, и чувствую, что сил моих больше нет. Опустился на колени.

Прощения стал просить у пней, у леса, вырубленного и не вырубленного, у птиц, бурундуков, травы и мха, у дома, рода, рода моего.

Бригадир понимал, что лучше держаться подальше, а вот десятник давно зуб точил на меня. Позвал начальника конвоя. Говорят: «Брось придуриваться. Тут вкалывать нужно. В зону вернемся, мы тебе церковь в изоляторе устроим». Потом начальник велел мне подняться и отойти от бригады. Я знаю, к чему это, и не двинулся. Тогда он бригаде велел уйти в сторону. Я поднялся и пошел с ней. Тут начальник рванул меня за рукав. В сторону хотел оттащить. Я вот этой ладонью резанул его по кадыку. Упал, захрипел, паскуда. Я каблуком ему на горло. Десятник хотел бежать, но я положил его рядом.

Следователь до сих пор не верит, что я их только рукой да ногой. А что не верить? Вся бригада смотрела.

Двое суток сидел я в этой камере. Двое суток не спал. Дегтярев сперва заглядывал, а потом бросил, и сынишка перестал ходить. Дегтярев был нами недоволен и велел меня перевести в другую камеру. Утром сказали, чтоб я приготовился «с вещами». Пока гремели ключами, я стоял у двери. Лева стоял рядом. Мы молчали. Потом открылась дверь. Он сказал: «Слушай. У нас после чужого человека бьют посуду, из которой он ел, чтоб слюна его не посеяла раздор среди нас. Я что-то не знаю, я не пойму, какой ты, но бить посуду после тебя я не хочу».

Дегтярев, Дегтярев, как много интересных судеб прошло мимо тебя, сколько удивительного мог ты увидеть в «волчок» камеры. Да что «волчок»! Все «волчки» всех камер твоими были! Другие тему мучительно ищут, а у тебя вон их сколько было. Как же случилось, что проглядел ты такие россыпи? Ты б мог стать классиком, ну, не классиком, так на худой конец, Валентином Катаевым или Шейниным.

Как несправедлива к нам судьба. Мне б твою должность. Я б обязательно стал писателем.

III

Из газет я узнал, что объявлен конкурс на лучший рассказ, посвященный славному шестидесятилетию органов государственной безопасности. Этой-то славной дате я и посвящаю свой рассказ. Прошу уважаемое жюри обратить внимание на то, что рукою автору управляла не столько корысть (деньги, правда, позарез нужны), сколько чувство глубокой признательности к органам КГБ.

Неисповедимы пути Господни, и моей убогой голове не понять, зачем понадобилось нашей славной разведке красть из Западного Берлина участника французского Сопротивления, еврея по национальности, журналиста Гевюрца и зачем понадобилось нашей не менее славной прокуратуре (интересно, а будет конкурс, посвященный прокуратуре?) осудить французского подданного на длительный срок заключения в сибирские лагеря… за сионизм.

Короче, Гевюрц нашел меня в бараке. Волнуясь, на ломаном русском языке он сказал, что в бригаде его жидом обзывают, что вчера бригадир лопатой ударил, а когда он пожаловался оперуполномоченному, то все отшатнулись от него. Пожалуйста, скажите, как быть? Что дальше делать? Я сказал: «Не ломайте себе голову, Гевюрц, и если кто-либо вас опять ударит или оскорбит, то ради Бога никому не жалуйтесь. Бейте, Гевюрц. Кулаком бейте, бейте камнем, лопатой. Бейте всем, что под руку попадет, но бейте обязательно».

Через пару дней исцарапанный и счастливый Гевюрц нашел меня в бараке.

Если на Страшном Суде Господь укажет мне на мои прегрешения, я тогда расскажу ему о Гевюрце.

ЗАСЕРЯ

С тех пор, как перевели нас на разгрузку угля, у меня совсем работа перестала клеиться. Средняя выработка моя равнялась 23–27 процентам. Пайку давали самую тощую, но дело было в зоне, и голодать мне ребята не давали. Так продолжалось несколько месяцев, и все было бы хорошо, но тут начальник КВЧ (его звали Васей Сопливым) объявил нам о приближении дня рождения Сталина Иосифа Виссарионовича. Он сказал, что все, кто чувствует себя перевоспитавшимся, должны к этой знаменательной дате сделать подарок вождю. Если есть у кого

деньги на лицевом счету, можно сделать денежный подарок, а у кого их нет, тот может доказать свою любовь высокой производительностью труда. Как на зло ни денег, ни высокой производительности у меня не было. А еще Вася Сопливый сказал, что если кто оставит вождя без подарка, тот тем самым подтвердит свою озлобленность и наличие камня за пазухой против первого в мире социалистического государства. Во время своего выступления Вася то и дело поглядывал на меня, поэтому я счел свои долгом сказать, что если это он меня считает неперевоспитавшимся и неразоружившимся, то он глубоко заблуждается, что вот как раз к этой дате я взвесил все свои внутренние и внешние резервы и теперь обязуюсь дать 170 процентов. А слова я на ветер не бросаю. Вася Сопливый похвалил меня, каждый из нас написал торжественное обязательство, и окрыленные, мы двинулись на работу.

Прошло немало лет, а мне до сих пор стыдно перед Сопливым Васей. Дело в том, что вечером при подведении итогов выяснилось, что я опять дал свои 23 процента. Вася Сопливый очень обиделся, и меня прямо с работы в наручниках отправили в изолятор. Семь суток отсидел я там. Изголодался так, что уж и кушать не хотел.

Был у нас вор. Он у начальника лагеря прямо на столе нагадил. Его за это прозвали Засерей. К нам, политическим, он испытывал нежную привязанность. Когда меня выпустили из изолятора, Засеря первый ждал меня у ворот с куском хлеба. С трудом проглотил я хлеб и сказал Засере, что очень хочу какой-нибудь зелени. А у нас прямо у вахты, в запретной зоне охранники посадили несколько грядок лука и огурцов. Засеря повел меня туда. Перелезли мы через проволоку и стали рвать зелень прямо на глазах у ошалевшего вертухая. Потом вертухай очнулся, закричал, снял трубку и хотел звонить на центральную вахту. Беды б нам не избежать, но тут Засерю осенила блестящая мысль. Он прошипел вертухаю: «Звони, гад, звони, мы тоже молчать не будем, мы слышали, как ты ругал колхозы, и еще расскажем, как ты у нас за водку сапоги купил и ни водки, ни сапог не отдаешь. Звони же, гад, посмей только, пес».

Но пес не стал звонить, пес повесил трубку, и мы, грызя огурцы, удалились с достоинством.

ВАГНЕР

Был у нас профессор по холодной обработке металла. Кажется, Вагнер фамилия. Говорят, раньше по его учебникам

студенты учились. Старый он был да здоровьем слаб, вот и поставили его следить за порядком в уборной. Работа нетрудная, тем более, что уборных-то и не было. Просто по обе стороны вдоль проволочного заграждения (что отделяло мужскую зону от женской) были вырыты канавы. Все как есть было на виду, но нашей канавой ведал Вагнер, а женской старая цыганка, простите, фамилию ее я забыл начисто.

Как-то к нам нагрянуло начальство. Осмотрели они запретную зону, карцер, вахту, ворота, лозунги прочитали и остались довольны. Начальника нашего похвалили. А ему так лестно стало, что не выдержал и похвалился, что де у него при уборной профессор работает, а чтоб высокое начальство не усумнилось, послал за профессором дневального. Пришел старик, и начальник спрашивает у него: «Ты, батя, правда, профессор?» Батя ударил себя в грудь кулаком и сказал: «Гражданин начальник, блядь буду, что я профессор». Начальство просто со смеху подыхало. Молодец, батя!

ТИМКА

У Тимки были большие голубые глаза. Повели Тимку в изолятор, а я провожать его пошел. Был солнечный день. Посмотрел Тимка большими голубыми глазами в огромное синее небо и сказал:

— Мир-то какой большой, а жить негде. Хороший был парень Тимка.

Рядом с нами был лагерь военнопленных японцев. Тех из них, кто плохо поддавался идеологической обработке, сперва держали в изоляторе, а потом переводили в нашу зону. Интересно у них проводилась эта обработка.

Среди пленных начальство находило подходящего. Подходящий принадлежал к прогрессивным коммунистическим движениям и потому сотрудничал с лагерной администрацией. Голодно было, работали на трассе. А этот марксист сидел в зоне и жрал в три горла. Преимущество социалистической системы над капиталистической было столь очевидным, что многие пленные заявили начальству о своих симпатиях к Коммунистической партии Советского Союза и ее Центральному комитету. Тут еще важно было не опоздать. И все, кому удалось это сделать вовремя, стали придурками.

С остальными получилось хуже. Опоздавших пришлось собрать в отдельную бригаду и на трассу их гоняли, как остальных. Но только бригаде этой участок отводился получше и

еды давалось побольше. И на работу они ходили с красными флажками.

Вскоре еще создали такую бригаду. Потом еще. А там и все бригады стали такими.

Вроде все хорошо, только б жить да радоваться. Но тут обнаружился изъян в марксистской идеологии: чем больше приверженцев становилось у нее, тем меньше должностей и еды она могла им дать. Правда, флажков хватало.

Их прямо в зоне делала инвалидная бригада.

СЕРЕЖКА

Сережка очень любил отца. Сережка знал, что отец пишет что-то. Тетрадь у него такая была. Потом арестовали. Там и умер. Мать замуж вышла. Отчим хороший, военный, но Сережка никому, даже маме не говорил про тетрадь. Когда исполнилось четырнадцать лет, он решил бежать через границу с тетрадью в Турцию.

К нам привезли его из малолетки. Разглядеть его было невозможно. Он весь утопал в телогрейке, в калошах, в огромной пограничной фуражке. В мастерской стоял токарный станок, так начальство пожалело Сережку (хоть он и политический) и поставило его учиться работать на этом станке, все легче, чем на общих. Станок большой, Сережке ящик под ноги ставили, чтоб доставал. Так и работал, стоя на ящике. Лагерь уголовный. Мразь тон задавала, мразь отборная, но ведь вот и она жалела. Во сне Сережка мочился, кричал, а его не ругали, не смеялись над ним. Кому б еще такое позволили? Неровный. То съежится, молчит, его не видно, не слышно, а то вдруг разговорится. Разговорится так, что не остановишь. В нашем бараке язвенник умирал. Умирал медленно. Иногда вечерами он играл на гитаре. Играл изумительно, играл так, что даже падаль дышать боялась. Однажды он играл что-то бодрое. Сережка подсел рядом и вдруг запел. Мордаха оказалась лихой, задорной, а нос совсем курносым. Он сиял, и всем хорошо было.

У него с легкими что-то получилось, слабые они были. После работы я приходил к нему. Иногда он не узнавал, метался, бредил. А иногда лежал тихо с открытыми глазами. Как-то он сказал мне: «Я наверное в бреду говорю невесть что, а вы рядом все сидите, вас не подослали ко мне?» Я не сердился, на него нельзя было сердиться. Я сказал: «Чудак ты, Сережка. Ты хороший парень, но за уши я тебя все равно оттаскаю. Вот увидишь. Как только на ноги встанешь». Он слабо улыбался.

Умер он. Потом мать приехала с отчимом. Гроб цинковый привезли. Да только без толку все это. Не отдали им Сережкино тельце.

Тельце его не отдали.

Случай, из которого читатель легко сделает вывод о том, что корыстный человек не может быть причастен к искусству.

Тарасевича попросили рассказать какой-нибудь роман, а за это дали кусок жмыха. Тарасевич стал рассказывать «Камо грядеши». Рассказывает, а сам то и дело от жмыха откусить старается. Сперва ему по-хорошему сказали: «Что же ты, падлюка, по-человечески говорить не можешь? Ты же грамотный. Ты что ж, гад, хочешь, чтоб твой жмых совсем забрали?» Тарасевич сказал, что больше так не будет и слово дал. Слово дал, а как забудется, так опять жмых в рот тянет. Ребята разозлились, жмых отобрали и сказали, что вернут после того, как рассказывать кончит. Так он, чтоб до жмыха своего дотянуться, весь роман этот скомкал, смял.

А говорит, на свободе учителем работал…

В бараке холодно, пусто. Мы пришли с ночной смены и уже засыпали. Скрипнула дверь. Кто-то прошаркал к печке. Остановился. Я открыл глаза. Измерзший. Опущенные плечи. Высокий. Беззубый приоткрытый рот и болтающиеся уши шапки ушанки делали его похожим на старую больную собаку.

Вот он расстегнул телогрейку и тощим, грязным животом прижался к теплым кирпичам… Так он блаженствовал, даже урчал. Затем урчание обрело слова, а там и мелодию. И вот передо мной — Канцона Листа.

Так я впервые увидел Чуричева. Я не знал тогда, что видел чудо.

А он ушел. Ушел, не отогревшись, не наевшись. Ушел, так и не сказав, как удалось ему не ожесточиться. Как удалось ему пронести свое доброе сердце через все шмоны двадцати трех лет лагерной жизни.

У нас женщин, которые рожали в лагере, звали мамками. В зоне барак для них стоял. Детей считали вольными и держали отдельно, за зоной. А когда кормить нужно было, то мамок к ним водили под конвоем. Не знаю, почему, но умирали детишки. Кто говорит от вируса, кто — от эпидемии, а опер сказал, что мамки сами детей своих умерщвляют.

Я в кузнице работал. Скобы делал. Норма большая, а тут мамки приходят. Просят, чтоб я памятники детишкам сделал. Сменщик мой, Ворохобин, хлеб с них брал, так мамки ко мне

шли. Ворохобин злился очень.

Возьмешь миллиметровый лист, вырубишь звезду. Приклепаешь к железному пруту. Конец заострishь. На звезде мелом напишешь имя, фамилию, год, день рождения, день смерти. Вот и все. Вот и весь памятник комочку, которому так и не суждено было стать человеком.

Господи! Я тогда в кузнице работал, скобы гнул. А Ты где был?

IV

КАК Я ВСТРЕТИЛСЯ С БЕЛИНКОВЫМ

Мне Коган всю плешь перегрыз. Как встретит, так обязательно спросит: «Ты когда про Белинкова напишешь?»

У меня и в Москве многие это спрашивали. Кругом слышу: «Белинков блестящий писатель». И я так думаю, но знать этого не могу. Не могу из-за того, что в литературе не разбираюсь, Белинкова не читал, а всего, что слышал, не понимал совсем или понимал частично. Знаю, написать нужно, не отказываюсь, но оговорюсь сразу, что рассказ этот будет не о Белинкове, а обо мне и о том, каким Белинков мне показался. Только в таком виде у меня что-то может получиться. Оговорка эта сделана из-за того, что при полной моей неспособности быть честным, все же хочу быть им. В этой моей неспособности быть честным убеждались многие и не раз. Она у меня как болезнь.

Недавно брат (он на Камчатке) прислал деньги, доверенность, документы. Просил меня оформить покупку кооперативной квартиры в Москве. Еще просил написать ему свое впечатление об этой квартире. Сам я жил в коммунальной. Клопы, соседи, тараканы. Вечером Ваня жену бьет. Общая кухня, общий унитаз.

В выходной пошел я смотреть квартиру. Дверь открыл и ахнул. Все залито солнцем. Квартира просторная, чистая, розовая. Я все так брату и написал. Брат ответил, что я не туда ходил, в той квартире, что он покупает, метраж небольшой, потолки низкие, обои зеленые, а потому квартира ни просторной, ни розовой быть не может.

Получилось, что я вру опять. Короче, не я к вам, а вы ко мне обратились, я предупредил. Теперь начну, и начну с Лубянки.

Я был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Весну 1944 года встретил на Лубянке, во внутренней тюрьме. Мне было 16 лет. Сперва сидел в боксе. Отец мой и брат погибли на фронте, от другого брата не было вестей. Дома мать одна оставалась. Мысль о ней давила меня страшно, и уйти от этой мысли было некуда.

В боксе шага не сделаешь, только сидеть и стоять можно. Окон нет. День или ночь, не знаешь.

Книг не давали, заняться нечем, удавиться не на чем — оставалось сходить с ума.

На прогулке мне удалось поднять кусок свинцовой

проволоки, а у следователя стянул канцелярскую скрепку. Скрепку распрямил и ею из свинца стал делать голову индейца.

Однажды в надзирателе проснулось что-то по уставу не положенное, он приоткрыл кормушку и спросил, как я себя чувствую, не скучно ли? Я заулыбался, растаял, потянулся к нему, стал рассказывать, индейца показал. Дежурный захлопнул кормушку, привел старшего надзирателя и еще одного пса. Они не могли поверить, что весь индеец сделан только скрепкой. Искали инструмент. Кричали, трясли, руки крутили. Потом так следили за мной, что только сидеть разрешали.

Я из носового платка стал нитки выдергивать, так мне и это запретили. Чувствую, что больше не могу, решил чаю накуриться и в больницу попасть. Чай у меня был, бумага нашлась, а вот огня не было. Потом додумался, как добыть, но и эта попытка была псарней пресечена.

Я объявил голодовку. Обычно через несколько дней охранники заталкивают шланг и кормят насильно. Поэтому голодовка не действенна, и все же заключенному дается возможность объяснить причину голодовки, и если требования не кажутся начальству чрезмерными, то их удовлетворяют.

Голодал сутки. Потом вызвал меня начальник тюрьмы и спросил, чего хочу. Я объяснил, что трудно одному, схожу с ума, хочу в общую камеру. Начальник обещал перевести, если сниму голодовку. Я, конечно, согласился.

Вечером вывели меня в коридор, а там, смотрю, из другого бокса тоже зэка выводят. Сутуловатый, среднего роста, лицо продолговатое, смуглое, интеллигентное. Коридорами, лестницами привели нас в пустую камеру. Дверь захлопнули. Так я познакомился с Белинковым Аркадием Викторовичем.

Никогда прежде я не встречал таких людей. Тогда мне казалось, что он все знает. Дома у нас портрет в четверть стены — Ленин газету «Правда» читает. Потом полное собрание его сочинений. История партии. Биография Сталина Иосифа Виссарионовича. Разрозненные тома Горького. Что-то Шолом-Алейхема. Малая Советская Энциклопедия, из которой вырезаны все или почти все враги народа. А тут в камере мне приоткрылся мир совсем другой. Я и раньше догадывался о его существовании, но думал, что правила и законы придуманы и навязаны ему людьми. Оказалось все наоборот.

В первый же день Аркадий сказал мне, что я музыку люблю. Я удивился: «А вы откуда знаете?» Он сказал, что это по затылку моему видно.

Потом в нашу камеру привели еще троих. Один совсем не запомнился, второй был худющий вор, третий Лебедев Иван. Он

стихи любил, наизусть знал «Мцыри». Назвал себя актером. Рыжий, курносый, лицо добродушное. Белинков сказал мне, что человек с таким носом актером быть не может. Позже и правда выяснилось, что он инженер-электрик.

Белинков был болезненным, я думал, он тюрьмы не выдержит. Кашель был плохой, и не только кашель.

Аркадий мне казался взрослым, хоть старше меня был года на четыре. Добрый он. Вот вор не имел специальности и не понимал, как это можно жить без воровства, а Белинков все хотел его к честной жизни приобщить. Он объяснил, как несложно и выгодно дома выращивать цветы. Вор возражал, говорил, что де живет в подвале, а там только плесень да поганки выращивать можно. Белинков блестяще разбил жалкие доводы громилы. Он развернул богатейшие перспективы. Оказалось, в подвале удобно и не менее выгодно вырезать и клеить почтовые конверты. Припертый к стенке громила хрипел, что это очень долго ножницами вырезать и много не заработаешь. Белинков и тут не стушевался, он объяснил, как просто сделать штамп, а им вырубать конверты можно сразу десятками. Теперь вору крыть было нечем. Он затаился, загрустил.

Днем нас погнали на прогулку, а вор остался в камере. Когда мы вернулись, оказалось, что у Белинкова съедено все сало. Мы всегда делились продуктами и упрекнуть в жадности было некого. Я возмутился, Лебедев также. Мы загнали вора в угол и стали бить. Ворвалась охрана, пришел начальник, стал выяснять. Мы рассказали, как было, а вор объяснил по-своему: «Гражданин начальник, врут они, падлюки, не могу я с ними быть, уберите меня, они власть нашу советскую ругают».

Мы с Лебедевым отсидели сутки в карцере, а вора перевели в другую камеру.

От Белинкова я слышал о Шкловском, Асееве, Тынянове и о многих других, и о многом другом. Я уж говорил, что почти ничего не понимал. К тому же шло следствие, меня пугали, что мать посадят, и голова моя была забита грозящей бедой.

Белинков же настолько легко переносил следствие, что решил заняться моим образованием. Принесли книги, и Аркадий выбрал «Историю философии и религии в Германии» Г. Гейне. По этой книге он и решил меня учить. Я быстро прочитал. Белинков удивился моей прыти, открыл предисловие и спросил: «Что такое дуализм? метафизика?» Я что-то мямлил, а он еще выискивал слова, значение которых я не знаю до сих пор. Он спросил: «Как же ты ухитрился, не зная слов, прочитать все это?»

А еще как-то он спросил:

— На что похоже ухо?

Я сказал:

— На вопросительный знак.

Белинков был восхищен, он решил из лагеря написать своим родителям, чтоб они прислали мне книги. Просил меня запомнить их адрес.

Я написал им, но мне не ответили, и это к лучшему, не до того было, не получилась бы учеба. В то время мы рыли канавы вдоль поселка, там стояли великолепные помойки. Иногда попадались и книги, но нас интересовали селедочные головки и картофельные очистки.

Однажды дежурный спросил у Аркадия: «Как твое имя, отечество?» Он ответил: «Аркадий Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Дежурный переспросил, побежал за главным, все повторилось сначала. Они спорили, пришел еще какой-то чин. Странно, но все обошлось для Аркадия благополучно.

Белинков рассказал, как в 1941 году А. А.Фадеев неожиданно пожаловался ему: «Простите, я не пойму, как вы везде поспеваете, ведь с транспортом ужасно трудно. Я позвонил сегодня в Союз писателей, просил выслать машину. Машины не было. Пошел я на трамвайную остановку. Ждал сорок минут. Пришел трамвай, переполненный до отказа. Я с трудом втиснулся. Все пуговицы оборвали. Я не мог слезть на нужной остановке. Проехал две лишних, пока удалось выбраться из вагона. Возвращался пешком. Это ужасно…»

Белинков ответил: «У меня, Александр Александрович, получилось почти так же. И я позвонил в Союз писателей. Машины не оказалось. Пошел я на остановку. Смотрю, трамвай уже стоит. Народ узнал во мне писателя, потеснился. Женщина место уступила. Пуговицу пришила, а когда подъехал к остановке, то все расступились, и вышел я спокойно. Так им[1] и передайте».

Рассказывал о девушке Фаине, говорил, что любит. Рассказывал о родителях, о близких… Любил прикрасить и, кажется, не чуть, но это не была ложь. Просто сама жизнь была настолько скудной, что скудность эту ему приходилось исправлять своими руками…

Потом я встречался с Белянковым после лагеря. Мне хотелось узнать, что вынес он из лагерной жизни. Думал — и ему будет интересно знать, что вынес я.

Он, по-моему, мало чем изменился. Был таким же болезненным, так же много и подробно рассказывал о своих недугах. Многие мысли и фразы были точно те, что так поразили меня на Лубянке. Он многое рассказывал о своей лагерной жизни,

но слушать не хотел, не умел.

Как и раньше, много знал, был тверд в своих суждениях. Он мог сказать: «Я сделал ряд верных заключений». Как жаль, что никогда я не мог о себе такого сказать. Никогда в жизни я не делал верных заключений.

В Бога он не верил. Говорил, что терпеть не может говорить и думать о том, чего не видит. Однако, мудрость и красоту Библии ценил высоко. Считал ее своей настольной книгой.

Он был любезен, но, увидев человека более приятного, тотчас поворачивался к тебе спиной.

Встреча с ним мне многое дала, была для меня большой удачей.

Мне жаль, что Аркадий умер. Он был умный, острый и совсем необычный.

Таким я его видел.

О ГЛЕБЕ, ФЕЛИКСЕ И СОВСЕМ НЕМНОГО О РЕБЯТАХ

Я этих историй знаю полно, но только о первых годах лагерной жизни рассказывать больше не стану. Хватит. Сам вижу, конца этому не будет. Ну, что прибавится, если напишу, как конвой избивал нас в этапе, как молотком позвонок мой достали и руку сломали у самой кисти. Или о том, как на нашем лагпункте отравили несколько сот человек и что с тех пор руки мои ходуном ходят и вкус обморока на моем языке.

Я расскажу о периоде более интересном. Для меня он начался в 1949 году. Это когда нас отделили от блатной братии и согнали в Озерлаг. Там совсем другая жизнь началась. Правда, режим строгий, номера повесили. Но зато люди какие! Со всего света. Французы, испанцы, японцы — все были. Даже матроса из Израиля привезли. О стране такой мы тогда не слыхали и потому табуном ходили смотреть на чудо такое.

Так пару месяцев прошло, а потом слухи поползли по зоне — один другого тревожнее.

Голод, страх. Вот потому и потянулись литовцы к литовцам, украинцы к украинцам, безумцы к безумцам, подонки к подонкам, корейцы к корейцам…

У нас тоже группа была. Все молодые и совсем разные. Был испанец, еврей, западный украинец, русский из Маньчжурии, потом из Башкирии Пашка Первушин и Колька Купцов — из Харькова. Нас собрали из разных лагерей. Мы к тому времени уж лет по пять отсидели с уголовниками.

Всех нас можно упрекнуть в беспринципности, но в той жизни

были другие законы. Там все другим было. Там и другом становился не тот, кто исповедывал схожие взгляды, а тот — кто потеснился на нарах, с кем докурил окурок, кто нашел в себе силу не отщипывать от твоей пайки, когда тебя не было рядом с ней. Высшим достоинством в наших глазах была способность человека противостоять голоду, насилию. Другого критерия мы не имели. Национальность, идеология в счет не шли. Да и не было у нас тогда идеологии, мировоззрения. А то, что нам досталось от родителей и школы, оказалось полностью непригодным.

Так вот мы шли. Вместе легче было. Мы были просто — товарищами.

Потом приехал на лагпункт Глеб Слученков, а чуть позже и Феликс Карелин. На этом кончилась наша идиллия. Но я по порядку. Сперва о Глебе.

Я был в лагерях, с уголовниками, на Дальнем Востоке. В то время блатной мир раскололся. Война шла между «суками» и «ворами» (ворами звали приверженцев старого воровского закона, а суками — реформистов). Резня была настоящая. В 1948 году к нам с бухты Ванино пригнали целый вагон «сук». На нашей штрафной колонне воров они перебили и власть взяли в свои руки. Среди «сук» был и Глеб. Там я его увидел впервые. Потом, через год или два, я встретил Глеба в Тайшете, в спецлагере, на проверке. Было у нас несколько воров, но я был далек от их дел и в тонкости не вникал. Не подумав, подошел к Глебу и сказал, что видел его на штрафной колонне в 1948 году. Глеб улыбнулся и ответил:

— Нет, вы ошиблись, никогда я не был на штрафной колонне и на Дальнем Востоке не был.

Позже, когда мы познакомились ближе, Глеб мне сказал:

— Если б тогда на проверке ты стал настаивать на том, что именно меня ты видел на штрафняке, я б тебя, конечно, убил.

Вот так я познакомился с Глебом Слученковым.

Отец у Глеба был коммунист, партийный работник, а мать врачом работала. Жили в Рязанской области. Сына своего Глеба они назвали Энгельсом. Имя глупое, но тогда мода была такая. В 1931 году отец застрелился. У матери работы было полно. Все по селам ездила, а Глеб рос как мог. Мальчишка увлекающийся. Столкнулся с уголовщиной, увидел в ней романтику — и ушел.

Имя свое не любил. Александром себя назвал. Но еще больше он любил имя Глеб. Так вот его и звали — то Сашей, то Глебом.

Худой, среднего роста, чуть сутулый, прихрамывал. Мне он запомнился смуглым, черноволосым, но, говорят, он блондином был. Глаза большие, темные, сверлящие. Я его взгляд затылком

чувствовал. Подходил он тихо, по-кошачьи. Губы тонкие, улыбка холодная, стеклянная, неопределенная. Мир видел в ярких красках и, конечно, парень он был незаурядный. Наверное, перед взглядом вот таких худышек трепетали здоровые лбы на громадных парусниках.

Помню случай, это когда у нас еще организации не было, кто-то из ребят в чем-то проболтался. Хуан Руис Гомес утверждал, что это Пашка Первушин выдал тайну, а Пашка отрицал и валил все на Хуана. Хуан назвал Пашку предателем, лгуном и предложил решить спор ножами. Ребята они были хорошие. Тут просто недоразумение произошло. Мы понимали это, а они завелись, как петухи лезли друг на друга. Вечер был, мы стояли за бараком и умоляли их прекратить возню. Быть бы беде. Но тут Глеб подошел, постоял, послушал и тихо сказал:

— Хватит, а ну, разойдись.

Мы пошли, как дети. Стыдно было за всю эту дурь. Уж больше никто не вспоминал о ней.

Глеб с собой нож не носил. Мне он так объяснил это, говорит, что когда нож у него при себе, то сам он прыгает в руку…

А еще помню, Глеб сказал, что если попадем на этап, то оденемся хорошо. Я спросил, за чей же счет. Глеб ответил, что есть порода людей, которых сам Бог велит грабить… Глеб считал себя христианином. Но верил как-то чудно. Нравилась ему поэма Некрасова, в которой Бог прощает грехи разбойнику за то, что тот убивает жестокого барина.

Во время войны Глеб, прямо из тюрьмы, попал в штрафную роту. Помню его рассказ, как он в поселок на разведку ходил. Пришел в поселок, а там немец у сарая стоит и никак мимо не пройти не замеченным. Деваться некуда, нужно убивать, да тихо это сделать надо. Немец что-то насвистывает и свистит так красиво, что жалко мелодию обрывать. Но зима, долго не пролежишь, холод пронизывает, вот и пришлось штыком колоть.

Потом Глеб попал в плен. К ним в лагерь приезжали набирать в РОА. Глеба поразили слова о России, Боге, царе, о евреях, коммунистах, масонах. Сашке мир другой открылся. Он увидел его и полюбил, да так, как никогда ничего не любил. Воевал в рядах РОА. Кажется, в Югославии или в Болгарии их использовали против партизан. Из его рассказов мне запомнилось такое: в поле розы растут, все поле было в них. По этому полю гнались они за партизанами, а потом искали их в цветах. Недалеко от дороги наткнулись они на убитого юношу. Лежит он на спине, голова рассечена осколком. Мозги наружу. И вот на лице, на мозгах, на все этом месиве — лепестки роз.

Думал Глеб, что немец поможет России избавиться от

коммунистов, а уж потом русские сами своими силами прогонят немцев. Все это видел Глеб ярко. Воображение у него было богатое, любил он такую Россию и уж только пострадать хотел за нее. Правда, не знал толком, как это сделать надо.

К евреям отношение было любопытное. Среди его знакомых таковых было немало. Но мир, в котором жил Глеб, держался не на трех слонах, а на еврейском вопросе. Потому он и придавал этому вопросу первостепенное значение. В сионизме, в еврействе он усматривал главную опасность для человечества, и ловко это у него получалось. Я много спорил с ним. Помню, раз спросил:

— Ну, ты скажи, чем сестра моя провинилась перед Россией? Живет в деревне, замужем за русским. Сажает картошку, свеклу, капусту квасит, грибы солит.

Глеб объяснил так:

— Сестра твоя не виновата, но она еврейка, и это для нее и для всех евреев сионисты и масонские мудрецы хотят мир поработить. В этом-то и есть вина тех евреев, которые будто бы ни в чем не виноваты.

А то еще так было — я как раз в карцере сидел, и разговор этот мне потом ребята передали. Они у Глеба спросили, как в будущем поступят с евреями, которые вместе с русскими борются против большевиков.

Глеб сказал:

— Мы этим евреям поставим памятник и уничтожим их.

Я после спросил Глеба об этом, он ответил, что ребята что-то спутали и не то мне сказали. Губы у него были тонкие, а улыбка стеклянная.

Портрет Глеба будет неполным, если я не скажу, что он обладал всеми качествами вождя. В своих поступках он руководствовался не только любовью к родине, но самолюбием, властолюбием. Понятие о нравственности имел смутное.

Умел укладывать события в нужный ему порядок, а если они в него не укладывались, то провоцировал их до той поры, пока не загонял в требуемую последовательность.

Но все это я понял потом, через много лет.

Глеб сложный, о нем и рассказывать не просто, а вот о Феликсе совсем не знаю, что говорить. Он — как оборотень. Что б не сказать о нем, все окажется правдой.

Отец его был видным чекистом и близким другом Феликса Дзержинского. Это в честь него он так сына своего назвал. Потом отца расстреляли. Во время войны Феликс был в армии. Полк их стоял под Ленинградом. Что это за полк и почему ему не пришлось воевать, я не знаю. Феликс был комсоргом в роте. У него даже заслуги были: он разоблачил солдата. Болтал тот

лишнее. Феликсу вынесли благодарность и сказали, что солдат тот шпионом оказался.

После войны Феликс вернулся в Москву. Работал электриком в лаборатории при университете.

С Кузьмой у Феликса получилось так. Кузьма жил у Красных ворот. Мать у него умерла, когда он еще в седьмом классе учился. Голодно было. Пришлось бросить учебу и пойти работать проводником на железную дорогу. Умный, талантливый. Ребята любили Кузьму. У него всегда интересно было. МГБ, конечно, заинтересовалось. Вызвали Феликса и дали ему задание — познакомиться с Кузьмой и его друзьями. Феликс так и сделал — познакомился, но дальше пошло не по плану. Ребята ему понравились. Он им все рассказал о себе и написал заявление в МГБ о том, что группа не является враждебной. Что взгляды ребят ему близки и поэтому впредь сотрудничать с органами МГБ он отказывается.

Вскоре Кузьму с товарищами арестовали. За ними и Феликса.

На следствии Феликс вел себя мерзко. Многие ребята своими сроками обязаны ему.

После суда Феликса привезли в наш лагерь, а мы уж там старожилами были. Правда, приморенными. Годами наши серые тени жались к баракам, а тут вдруг Феликса увидели. Он только с воли приехал. В кителе, в хромовых сапогах, аккуратный, красивый, блестящий.

Все знает. Ничего подобного мы не видели даже на воле. Правда, мне еще на Лубянке встретился Белинков. Но я тогда не был готов к такой встрече. К тому же, его интересовала только литература, а я хотел хоть как-то разобраться в жизни. У Феликса же литература, история, философия и все вообще вязалось в один узел.

Я уж говорил, что прежнее мировоззрение было нами утеряно, а нового не имели и не искали, не до него нам было. А Феликс приехал бодрый, он сразу взялся за поиски нового мировоззрения. Он любил искать его вслух. Было интересно следить за этой работой.

Феликсу я многим обязан. Это от него я узнал, что мир красивее и больше нашего школьного выцветшего глобуса. В цветах и красках я увидел народы, страны, цивилизации, мессий, лжемессий, богов, поэтов, флибустьеров. Это от Феликса я услышал историю моего народа. История эта меня волновала. Я хотел многое узнать из того, что скрывали от меня взрослые дома и в школе. Я хотел понять причину, заставившую моих близких и даже самых умных из них, стыдиться, бежать от своего еврейства. Но сейчас я не хочу трогать этой темы, чтоб не отвлечься от

начатой.

В поисках истины Феликс был последователен. Он всегда шел до конца… Пока не приходил к другой. На наших глазах он проделал большой путь и остановился на христианстве. Христианство Феликса в разное время выглядело по-разному. Под влиянием Глеба оно качнулось в сторону панславизма, а в изоляторе христианство еврея Феликса Карелина стало резко антисемитским.

Я только потом понял, что истину он искал не ради нее самой, а ради того, чтоб стать предтечей идеи, которая вот-вот придет в мир. Бес тщеславия толкал Феликса искать, строить, проповедовать. Покоя не было ему. К тому ж, он никогда не умел соразмерить свои желания с возможностями. Феликс сам выбирал свою ношу, сам поднимал и всегда падал под ее тяжестью. За минуты топтания возле славы он платил годами позора. Господь дал ему умную голову и сердце недоношенного ублюдка. Его всегда затягивает в шестерни собственной машины, и он обязательно тащит за собой всех, кто был хоть как-то связан с ним. Многие считают его провокатором, а я с этим не согласен. Это сейчас он научился извлекать пользу из своего уродства. А раньше он благополучным не был. Выгоды не имел. Было б слишком здорово, если б только одно это слово — провокатор — могло все объяснить.

Я могу только догадываться, но точно не знаю, откуда пошел этот слух, он не походил на обычную лагерную «парашу». Уж больно много подробностей было в нем. Рассказывали, что пришел приказ из Москвы — расстрелять политических заключенных. Говорили, что совещание было в управлении. Обсуждали, как проще это сделать.

Мы решили создать организацию, способную оказать сопротивление. Руководителем одни хотели Феликса, другие — Глеба. Потом решили, что хоть Феликс и умный, но мало знаком с лагерной ситуацией, а нам нужен вождь с твердой рукой. Такая рука была у Глеба, поэтому выбрали его, а Феликса назначили заместителем. Вроде все было как прежде. Мы оставались товарищами, но только Глеб стал руководителем, а Феликс его помощником.

Теперь мы имели программу, устав, клятву. Дел, конечно, прибавилось, к тому же мы еще на работе уматывались. Но жизнь приобрела смысл, правда, ненадолго.

Снег уже сходил, кажется, в мае это было. Глеб сказал, что среди нас есть провокатор. Глеб догадывается, кто этот гад, но скоро точно узнает, кто он. Так между нами пошли трещины. Мы уж больше не могли как прежде глядеть друг другу в глаза. Нам

бы рассыпаться надо, но теперь нас крепко держал обруч — организация.

Через несколько дней Глеб сказал Аркадию, что провокатором оказался Феликс. Выдать нас он еще не успел, поэтому нужно срочно его убить.

Аркадия Глеб назначил старшим, а в помощь ему дал Кольку Купцова и Пашку Первушина. Вечером ребята затащили Феликса под вагон. Он все отрицал. Потом стал молиться. Колька ударил его кулаком по лицу и уж хотел душить, но Аркадий не дал. Пашка держался в стороне. Затем они пошли в сушилку, где ждал Глеб. Аркадий сказал ему, что в лучшем случае это было ошибкой, а в худшем — Глеб просто решил перебить своих же ребят. Плечо Глеба дрогнуло, но Аркадий этого ждал. Нож был и у него. В сушилке тускло горела лампа. Так они стояли. Потом Глеб сказал:

— Ладно, хватит. Мы этот разговор кончим потом. Мне очень жаль, но сейчас не до этого, обстоятельства не дают нам такую возможность.

Прежде чем перейти к обстоятельствам, о которых жалел Глеб, я хочу рассказать об Аркадии. Говорить о нем просто и хорошо, благо сделан он из цельного куска.

Так глупо получилось, что я не могу назвать его фамилию. Помню монгольские глаза. Волосы жесткие, черные. Русский он, а похож на азиата. К стыду своему, о семье его почти ничего не знаю. Помню, что отец его, Иннокентий, забайкальский казак. В гражданскую войну их сотня, отступая, ушла в Маньчжурию. Там отец работал на железной дороге рабочим. Семья большая, жилось трудно. Отец воспитывал Аркадия в традициях казачества, да и все эмигранты так детей своих воспитывали. Мальчишки с малых лет состояли в казачьих Союзах. Ребята мечтали, как будут воевать, как на лошадях вернутся в Россию, как рубать, колоть будут жидов и комиссаров, как вольно заживут на земле отцов…

В Россию они вернулись иначе.

В 1944 году начались массированные передачи из СССР, рассчитанные на русских эмигрантов.

Далекая родина называла их сынами. Диктор называл своими братьями. Рассказывал, как дорога русскому сердцу родина, церковь, традиция. Говорил, что нет больше конфликта, что пора забыть неурядицы далекого прошлого, главное не то, что разделяет, а то, что объединяет. Главное, что все они русские и что сил больше нет жить в разлуке.

Эмиграция дрогнула. Старики и те поверили. Говорили молодым, что нужно помогать своим — русским, что вот хоть сами они и воевали против коммунистов, а и то мести не боятся,

а уж детям, которые и России-то не видели, совсем бояться нечего. Говорили, что Русь теперь почти как прежняя: и погоны там теперь, и офицеры, генералы есть, георгиевские кресты и те в почете.

Пропаганда сделала свое дело, и когда советские войска вошли в Харбин, то власть там была в руках русских эмигрантов. Встречали цветами, хлебом-солью. Плакали от радости, у некоторых на рукавах были красные повязки. Эмигранты стали разведчиками, проводниками, а позднее — и заключенными.

Стариков судили за грехи прошлые, а молодых за то, что были в казачьих Союзах. Им всем по пятнадцать лет сроку дали. Аркадию тогда исполнилось семнадцать. А вот детей малых, женщин да старушек в Россию везли так просто, без сроку, в телячьих вагонах.

Аркадий любил дочку богатого соседа. Он с отцом дрова им колол и пилил. Умерла она от туберкулеза. Любил ее очень. Любил все время. Он как-то мне рассказал о ней, а больше никому не говорил.

Лицо у Аркадия строгое, хмурое. Всегда аккуратен, застегнут на все пуговицы. Смелый, добрый и очень честный.

Я, пожалуй, больше, чем кого-либо из ребят, любил Аркадия.

А теперь об обстоятельствах.

Не помню, каким этапом прибыл Хлебко. Его привезли из армии. Он капитаном был в артиллерии. Лицо энергичное, светлое, и какое-то очень европейское. Думаю, ему тогда лет тридцать было. Он считал, что мелкие группы мешают общему делу, что нужно объединить их и, не дожидаясь репрессий со стороны начальства, самим начать восстание. Хлебко удалось привлечь на свою сторону многие группы. Он и нам предложил объединиться с ним, но Глеб относился к нему настороженно. Говорил, что Хлебко действует опрометчиво.

Все переговоры от нашей группы с Хлебко велись только Феликсом и Глебом, поэтому все, что мы знали о нем, мы узнавали только с их слов.

Наш лагерь охранялся войсками МГБ. В зоне у нас была баня. По воскресеньям солдаты строем в пятьдесят человек ходили мыться. Хлебко хотел запереть солдат в бане. Переодеть ребят в их форму и строем выйти через вахту. Затем предстояло броситься на гарнизон, разоружить его. Хлебко рассчитывал освободить соседние лагпункты и поднять настоящее восстание.

Осуществление плана было назначено на ближайшее воскресенье. Глеб хотел действовать самостоятельно, но обещал Хлебко полную поддержку в момент восстания.

В сушилке Глеб нам сказал, что он давно подозревает Хлебко

в том, что тот действует по заданию МГБ. Теперь Глебу стало доподлинно известно, что план восстания задуман для того, чтобы дать повод охране перебить нас. На нашу группу ложится задача сорвать провокацию. В лагерях бывало всякое. Случалось и такое. Глеб говорил убедительно, мы ему верили.

Была пятница. В воскресенье начнется восстание. Было решено в субботу убить Хлебко. Сделать это Глеб поручил Феликсу.

Бараки на ночь запирались. Перед отбоем Феликс пришел ко мне. Мы простились и он ушел. Он ушел в барак, где был Хлебко, с собой Феликс взял библию и два ножа. Он молился всю ночь. А утром было солнце. Феликс подошел к спящему, откинул край одеяла. Хлебко открыл глаза, увидел Феликса, ножи и крикнул:

— Феликс, ты что?!

А Феликс ему: — Смерть провокатору! — и стал колоть ножами. Людей было много, но на помощь никто не пришел — все были парализованы.

Потом Феликс пошел на вахту. Отдал охране ножи и сказал им, что убил провокатора.

Вечером всю нашу группу заперли в БУР, а потом отправили в центральный изолятор.

В первый же день следствия Феликс выдал всех. Ребята держались хорошо.

Потом вдруг показания стал давать Глеб. Всю ответственность за дела организации и за убийство Глеб взял на себя. Следствие было долгим и запутанным. Месяца через два Глеб вдруг заявил, что он является членом русской националистической организации и действовал по ее заданию. После этого следствие совсем зашло в тупик.

Глеб сидел в смертной камере, потом приговор ему заменили и отправили в Джезказган. Там Глеб стал одним из руководителей восстания. Об этом периоде его жизни я знаю только из книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Там в части 5 в главе 12-й подробно сказано о восстании. И о Глебе там есть.

Николай Купцов умер в изоляторе. Ничего не знаю об Аркадии, о Павле Первушине, о Петьке Беленчуке. Ни о ком ничего не знаю.

А вот Феликса видел в Москве, и не раз.

Странно, ни умным, ни талантливым он мне больше не казался. Путь его все так же тернист. Он по-прежнему проповедует, очаровывает, предает. В августе 80-го года он предал Якунина. Вот два года как я уехал из России, и не знаю, кого он предал за это время.

На днях я опять услышал о Феликсе. Он сейчас сотрудничает

в черносотенном журнале «Многая лета». Журнал этот подпольный, но так как направление его полностью совпадает с направлением политики КПСС, то издается он на площади Дзержинского, как раз против магазина «Детский мир».

Вероятно, о всем этом надо бы написать подробнее, но мне надоело копаться в азефовщине- бесовщине. И потом я просто устал.

ХАРИУС

Ты говоришь, на Подкаменной ловят иначе. Так ведь там хариус. А его нахлыстом нужно. Хариус хищная рыба, его иначе не возьмешь. И на Колыме так ловят. Я в Семчанах увидел это впервые. Мы там аэросъемкой занимались. И не только аэросъемкой. На Колыме летчик большой человек: кому отвезти, кому подвезти чего… Спирт возили, а за него что хочешь возьмешь. Мои тогда в Москве жили. Я всем дубленки пошил и шапки пыжиковые.

Дружок у меня там был, Костя Кудрявцев. Начальник шахты. Он меня научил рыбачить. Я его жену возил рожать на материк к родителям. Нажрались мы тогда крепко. И геологи с нами были.

Шахта урановая. Заключенных не видно. Они внизу работали. Я в дела те не вникал, не мое это дело. Этика у нас такая была. На поверхности охрана, а из зэков только один работал.

Как породу наверх поднимут, так он ее на тачке отвозит в цементный ящик. Мужик высокий, борода, лицо, как у священника, а, видать, опасный. На бушлате номер нашит и сам цепью прикован к тачке.

Понимаешь, там вечная мерзлота, потому червя в земле не найдешь. Отрежь прядь волос, перевяжи ее красной ниткой. Все это насади на крюк, а чтоб приманка на поверхность не всплывала, еще дробинку привяжи. Забрось в быстрину насадку и сразу тяни ее к себе, обратно. Течение быстрое, хариусу некогда разглядывать приманку, он тут же схватит ее.

Хариус хищная рыба.

НА ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКЕ

Я вышел из своей развалюхи — взглянуть на ущелье, где замерзала река.

Стояла обморочная тишина, все было синим, неправдоподобным.

Вдруг гул. Бежал олень.

Ветер, каменное ущелье, дыхание — все гудело под его ногами.

Безумные глаза.

По мерзлой реке гнали тощие псы.

Не уйти по тонкому насту. Изрезаны ноги. Безумные глаза.

Догнал его гул. Свалил величавого — там, внизу, где кончается эхо.

ПРО ВОЛЮ

Яша Цигельман сказал, что все написанное мною к литературе никакого отношения не имеет, а скорее является сырьем, из которого квалифицированный литератор мог бы черпать материал для своих произведений.

Правда, сказал он, о лагерях и тюрьмах теперь понаписано столько, что вряд ли это кого-нибудь заинтересует. Еще Цигельман сказал, что я не должен отчаиваться, и если действительно хочу писать, то сперва должен учиться и только тогда писать, и писать не все, что в голову взбредет, а только то, чего не писать не могу.

Брел я узкими переулками. На сердце гадко было. Действительно, моя голова забита лагерями. Яша прав, писать не умею и пишу то, чего могу не писать.

Я и правда могу не писать. Я очень даже могу не писать. Я вот и этот рассказ мог бы не писать, и если пишу его, то только из мелкого тщеславия. Хочу доказать Яше, что перу моему подвластна не только лагерная тема, что Яша просто не знает всех моих возможностей, что я могу писать и на другие темы. Я вот и о воле могу писать.

Слушай же, Яша, про волю слушай.

Из спецлагерей нас собрали несколько сот человек и под конвоем отправили на вольное поселение в Эвенкийский Национальный округ. Были у нас и женщины, да мало, средь них девчат молодых двадцать-тридцать из Прибалтики. Были и наши российские. Мы давно так близко женщин не видели, и было тяжело, непривычно смотреть на них. Пожалуй, самой приметной была Лиля. Тоненькая, красивая, лет двадцать-двадцать пять. Из Ленинграда. Отсидела за политику пять лет (детский срок). Родители у нее влиятельные, часто приезжали на свидание, а в Ленинграде у нее жених, летчик, любит очень и, конечно, приедет теперь к ней. Одета не по-лагерному, она и держалась как-то не по-лагерному. Отличалась очень от наших девчонок, пришивших

из женского кокетства широкие хлястики к своим телогрейкам.

До Красноярска везли в «столыпинских» вагонах, а там нас соединили с уголовниками и погрузили в трюм пассажирского парохода. На нем мы и поплыли вверх по Енисею. Думалось, что раз везут на волю, то ехать будем спокойно, но на деле оказалось не так.

Среди уголовников были блатные (с таким теплом описанные Михаилом Деминым). В трюме блатные полезли нас обыскивать, отбирать приглянувшиеся вещи, приставать к нашим девчонкам. Потом они пробрались в парикмахерскую и там забрали бритвы и весь одеколон. Перепившись, блатные выползли на палубу парохода и стали грабить пассажиров. Конвою с трудом удалось загнать их обратно в трюм. Но, вкусив вольного воздуха и тройного одеколона, они взбесились окончательно. Горланили песни, хрипели, одного из своих судили. Повесили. А еще одному, из наших, отверткой живот пропороли.

Попытаюсь объяснить, почему несколько сот мужчин, прошедших фронт, прочитавших Шекспира, Достоевского, Толстого, позволили десятку пьяных сифилитиков грабить, убивать, насиловать.

Все те, кто могли воспротивиться насилию, погибали в лагерях сразу. Если они сопротивлялись властям, их убивали власти; если они сопротивлялись блатным, их убивали блатные. Их все убивали. Те же, у кого инстинкт жизни оказался сильнее чести и порядочности, подписали договор с дьяволом. Из договора следовало, что дьявол обязуется не всех убивать, а преимущественно сильных. Мы же брали на себя обязательство насилия не замечать и отворачиваться от товарищей в момент, когда их добивали. Только так могли мы выжить, только такими нас оставляли жить. Понятие о порядочности стало настолько изощренным, что на все подлости мы обзавелись массой оправданий.

Каждый из нас говорил себе приблизительно так: «Ну, что я могу сделать один?» (А нас были тысячи тысяч!). Или так: «Я теперь в особых условиях, я теперь, конечно, не могу быть таким, как прежде. Чтобы выжить, я не должен замечать произвола, мне нужно отвернуться от него, так, быть может, до свободы доживу. У меня старая мать, я никогда не имел девчонки, я только от других знаю, как это делается. У меня жена будет, сын будет. Я сделаю его сильным. Я миру дам хорошего человека, он оправдает меня. Да я и сам другим буду. Там, на воле, я не позволю глумиться над собой, я не падаль, я могу отличить зло от добра. Там жизнь будет нормальная, и я нормальным буду. Я столько вынес, я заслужил ту жизнь. Мне б только до воли

дотянуться! А зла и так много, будет одним злом больше, но я успею проскочить на свободу. Я все людям расскажу, это для них важнее моей смерти. Но только для этого я должен остаться в живых».

Так думали не худшие из нас, так думали мы, отказавшиеся сотрудничать с оперуполномоченными. Мы, оставшиеся в живых, сотрудничали так, без подписи. Мы по-другому сотрудничали. Стукачи льготы получали: хлеба кусок или должность придурка, а мы просто, на общественных началах, почти бескорыстно. Мы действительно выходили из лагерей перевоспитавшимися.

Ладно, сам вижу, не туда меня забросило, а ты, Яша, не ехидничай. Я кончил про это и теперь опять про волю писать буду.

Особенно они измывались над девчонками. Над латышкой глумились всей пьяной оравой, а потом тряпку туда затолкали и остригли наголо.

А над Енисеем стояло солнце и высились дивные берега.

Потом к Лиле привязались. Видная она, вот и привязались. В поисках выхода она предложила себя одному из подонков в жены. Башканов его фамилия. Он взял ее. Нижнюю полку завесили простыней, и там, за этой тряпкой, Лиле открылся счет дням медового позорища.

Затем нас в баржу посадили и потащили буксиром по реке Подкаменная Тунгуска. Тащили до эвенкийского поселка Куюмба. В поселке нас разделили на две группы. Одних катерами отправили на участок, а нас в тайгу погнали — прокладывать дорогу к этому участку. Местность болотистая. Вот мы и строили настилы из бревен, чтоб тракторы могли пройти. Все блатные ушли на участок, и Лиля с ними. Потом до нас слух дошел, что сифилисом заболела и Башканов с ней больше не живет.

Места удивительно красивые, но видел я эту красоту через накомарник, через толщу мошки и комаров, через дымокуры, через смолу и пот. В накомарнике дышать трудно, а уж работать совсем тяжело. Мы воду пили через накомарники, курили через них. Но ни дым, ни накомарники не спасали от этой нечисти, она была всюду, даже в ноги через портянки пробиралась. Лес валили, таскали бревна. Работа тяжелая, нудная, а главное не видно ее. Трактор пройдет, весь настил разворотит, и начинай все сначала. Так без конца.

Как-то слышим: трактор тарахтит, «пену» за собой тащит (это лист железа, на нем грузы перевозили). На «пене» трубы колонковые для бурения и ящики. Средь ящиков, смотрим, Лиля приютилась. Кто-то крикнул: «Лиля! Куда ты?»

Глаза припухшие, лицо белое, улыбка вымученная. Сквозь

лязг железа и треск бревен мы услышали: «В Куюмбу. Жених ко мне приехал из Ленинграда. Летчик он!»

Мы махали ей вслед. Мы знали, что едет она в больницу…

Хотелось кричать и кусаться, хотелось голову свою разбить о стволы деревьев.

Но никто не кричал, никто не кусался, и голову свою никто не разбил о стволы деревьев.

Прости нас, Лиля, простите, девчонки. Поймите, мы еще совсем не жили. У многих никогда девчонок не было, где-то матери старые ждут. Мы еще так многого не видели, так многого не сделали…

Мы махали ей вслед.

Прости меня, Лиля, простите, девчонки, простите все, простите, если можете…

V

У этой девчонки фамилия была Круглова. Псы насторожились: уж не родственница ли она министру Круглову? Наша колонна находилась рядом с управлением. И поэтому для выяснения привезли ее на наш лагпункт. Поселили в санчасти. Ситуация любопытная: нас — тысяча зачуханных мужиков, а девушка одна. Правда, зачуханным было не до нее, а вот коменданту, нарядчику, лепиле, хлеборезу, пожарникам, бригадирам и прочим баловням судьбы и кума — было очень до нее. Взбудоражились все, мыться стали тщательнее, а снобы брючины свои расширили клиньями. В бараках разговоры, споры велись, и все о ней. На работе гадали, что в зоне делается, а вернувшись, сразу спрашивали: «Ну как?» Ее постоянно сопровождал хоровод придурков, и где уж тут Сашке Лозовому подойти? Все же удалось ему передать письмо, в нем он предлагал себя навеки, и даже стихи об этом написал. Стихи примитивные, но там все правдой было. Я уж говорил, что колонна находилась около управления. Когда комиссия приезжала, то ее к нам вели. Лагпункт у нас был образцовый. Блатных старались не держать, так что было сравнительно спокойно. Правда, голодно, но зато вся зона лозунгами увешана. У нас даже своя агитбригада была. Руководил ею какой-то театральный деятель из Москвы (Озерский фамилия), а вот пьесы сочинял, песни, слова и музыку к ним Манцуров. Квадратный, красный, глаза рысьи, ноги колесом. Казах он, из цивилизованных.

Прошло две недели. Мы уж стали дергаться. Самые зачуханные из нас — и те в волнение пришли, тоже спрашивать начали: «Ну как?»

И вот однажды приходим с работы и сразу поняли: свершилось!

По баракам, по всей зоне, в сопровождении восторженных поклонников, на коротких, кривых ногах катался сияющий Манцуров. Голос его хрипел всюду. Этот вечер принадлежал ему.

— Я, братцы, ей часы показал и гроши, она, падлюка, и клюнула. Я тоже думал — девушка, полез, а там у нее…

И тут слова его тонули в сиплом гоготе. Наверное и правда здорово было, потому что при этом пена на губах проступала.

Над зоной воцарился покой, все стало на свои места. Порядок мироздания был восстановлен. Не было больше: «Ну как?»

Господи, помоги Саше, он не придурок, не баловень, он просто добрый очень, любящий, у него потребность такая —

любить. Он не виноват. Ты сам вложил в него такое сердце. А что с виду незаметный, так ведь это не беда. Это, может, еще из-за одежки. Одежка тоже значение имеет, а откуда она в лагере не у придурка? Не прогляди его, Господи, я вот проглядел и до сих пор простить себе не могу. Не повтори моей ошибки. Я тогда был чистым и поэтому недобрым. Сашка слишком прост был для меня. Лицо круглое, глаза серые, он из Уссурийской тайги. А я Джека Лондона читал, Ромен Роллана. Белинков на Лубянке сказал, что у меня данные есть, и затылок особенный. Друга всегда хотел иметь настоящего, а он рядом был. Я это только потом понял. Уж никогда я не встречал такого.

Господи, если он жив, помоги ему, пожалуйста.

Даже если он не верит в Тебя, то Ты все равно помоги!

Сашку я нашел за бараками. Он долго молчал, а потом сказал, что Манцуров подлец, что все он врет. Я видел, как Сашке тяжело, но не мог найти нужных слов. Я ничем не мог ему помочь. Наверное нужно было подкараулить Манцурова, набить рыло, заставить просить прощения у девчонки, но вопреки всякой логике я поднял с земли пару обломков кирпича и сказал: «Пойдем, Сашка. Пойдем стекла бить у начальника».

Сашку потом отправили на золотые прииски, а меня на штрафную колонну. Кому было лучше — не знаю, плохо то и другое, но ведь и здесь мы оставаться не могли.

Между блатной кодлой и охраной понимание было полное. Одни и те же наколки, один и тот же язык. Да иначе и быть не могло, ведь дело общее, только охрана снаружи, а остальную работу, то есть, работу «изнутри» выполняли блатные. Мы были полностью отданы им. О бригадире Трапезникове расскажу потом. Он когда в зоне оставался, то вместо себя с бригадой посылал пацана «Шкоду». Шкода строил нас пятерками и гнал на работу. Сам шел сбоку. Палку держал как ружье. Конвою нравилась эта шутка. Палкой Шкода бил за то, что медленно шли, работали не так или просто были «шибко грамотными». Избивал в кровь. Когда появлялось желание иное, то насиловал прямо за стогом, но так, чтобы конвою видно было, что не в побеге он. Посмевших огрызнуться добивали в зоне. Их в баню водили для этого. Пол там цементный был. Жить было незачем. Но не было сил и уйти. Только раз я видел уходящего в смерть. Он крикнул: «Конвой! Стреляй!» и пошел через «запретку» умирать в поле. Он оставил нам кучу убедительных оправданий и теорию Дарвина, согласно которой выживает более приспособленный вид.

Но я ведь совсем не о том, я другое хотел рассказать. Я о красоте хотел. Слушайте. Нет, вы только послушайте, как хитро

действует эта робкая. Вы посмотрите, как эта изящная пробивает толщу бетонную. В темную тьму приходит. Приходит туда, где быть ее не могло.

Пришли с работы. Легли спать. Вижу, поле солнцем залито. Рожь, васильки, ромашки. Через поле Вера Будрик идет, цветы к себе прижимает. Лицо задумчивое, грустное. Подошла, подняла большие глаза, улыбнулась и цветы протянула мне.

Рябой обрубок рельса, подвешенный на ржавом тросе, бросил нас на пол и погнал обезумевших к вахте. Дальше шли пятерками. Я смотрел по сторонам, глядел, кому б рассказать, но чугунно-свинцовые лица отталкивали. Да так оно и лучше. Смеяться б стали. Многим письма приходили, на свидание приезжали. А у меня не было дороже этого поля, солнца, цветов и Веры.

Прошло много лет. Я вернулся, мне уже около тридцати было. Юрка Девятов сказал, что Вера живет на Красно-Пролетарской улице. Не замужем. Пойдем, говорит, интересно, узнает ли?

Поднялись на четвертый этаж. Юрка нажал звонок. В коридоре послышались шаги. Страшно стало. Я сказал: «Прости, Юрка, я вспомнил, не могу сейчас. Мне дома нужно быть. Я в другой раз, потом. Сейчас никак не могу».

Я бежал по лестнице вниз. Я слышал, как открылась дверь. Как Юрка кричал через перила: «Постой. Куда? Ты что, с ума спятил? Дурак ты!»

Но я бежал. Так нужно было. Бежал оттуда прочь.

Не мог я рисковать ни полем, ни солнцем, ни Верой, ни цветами…

В камере тускло. Не разберу, с кем разговаривает сосед. Может, сам с собой?

Мне запомнился обрывок фразы и безнадежно грустный тон, которым она была сказана:

«И повэзуть нас далэко, далэко…»

И правда, куда уж дальше! От песенных краев, от семьи и тепла, через всю спившуюся Россию, аж до самой Совгавани.

Бешеный день. Жарко. Говорят, хамсин[2]. Дышать нечем. Работа точная. Делений не видно. Пот глаза застилает. Деталь двоится, расползается. Как в тяжелом сне. Пульсирует каждая клетка, все ходуном ходит. Спецовка мокрая. Вон, в одних трусах работают, надо б и мне бросить утомительную стыдливость. Деталь не установлю никак. Сегодня все невезенье пришло ко мне. Сколько раз очки падали и ничего, а тут просто протирал

стекла и правое рассыпалось, как льдинка. Сказали к утру деталь сделать, а я теперь не вижу. Правый, чтоб не мешал, закрываю, стараюсь смотреть левым, а он устает, мутнеет в нем. Снимаю очки — не вижу. Одеваю — не вижу. Тру глаза — не вижу все равно. У станка собираются. Говорят что-то. С трудом разбираю слова. Жаль, языка не знаю. Смеются, и ой как не добро. Вот слово «закен». Это слово слышал не раз. «Закен» значит старый. Как все нехорошо и, главное, говорить не могу. Я б им сказал, что не стар, что просто не нужно сейчас на меня смотреть. И не в годах дело. Многие никогда молодыми не были. А я люблю, плачу, молюсь. Это ли старость? Моей любви, моих слез, моих молитв на весь мир хватит. Ну, что не отойдете? Что так прилипли к «волчку моей камеры»? Зачем так ловите мои неудачи? Не враг я вам. Я вас, бестактных и недобрых, все равно не любить не смогу. Завтра расскажете. Расскажете, как жалок я был. Смеяться будете. Всем расскажете. Ничто не остановит вас. Идиоты, чужака во мне увидели, но ведь и ваши отцы пришли так. Говорят, они идеалистами были. Откуда ж у вас столько крысиной зависти? Столько черного недоброжелательства? Где краски эти увидели? Море — синее, небо — голубое, холмы — желтые, зеленые, розовые, коричневые, сиреневые, малиновые. Красоты такой нет краше! Так где же нечисть эту черпаете?

Ветром, градом разворотило нашу палатку. Пришлось перебираться в землянку. Нары в три яруса забиты зэками. На полу вода. Мы примостились на краю нар и так сидели, поджав ноги. Лежащие ворчали, говорили, что свет им застилаем, и ноги вытягивали, чтоб в слякоть столкнуть.

Темно, зябко. Мы сгрудились посреди землянки и так стояли, пока могли.

Братцы, но ведь то в лагере, в России было это. Там друг друга не любят, а нас особенно. Нас нигде не любят. Может, нас и не за что любить. Ну как мы можем, как нам не стыдно обижаться, требовать, упрекать. Как мы можем домогаться любви чужой? Как мы можем домогаться, если даже евреи не любят нас, евреев.

В жарком автобусе уставший мальчонка уткнулся в плечо измученной мамы. Хнычет: «Ну, погостили, посмотрели, хватит. Мама, давай обратно поедем, домой». Как ты мне понятен, как ты мне близок, маленький. Только вот нет у меня мамы, и еще я знаю, что нет у нас места другого. Нам некуда больше идти, сынок. Здесь наша земля… Подожмите ноги. Подожмите ноги, пожалуйста. Не сталкивайте с нар.

Бешеный день. Жарко. Говорят, хамсин. А ведь может это и правда хамсин?.. Ведь если это только хамсин, то пройдет.

Пройдет и легче станет.

Я не должен был так поступить, Фарид не заслужил такого. Нас больше месяца волокли до Хабаровска. Дружили в этапе. Одним бушлатом укрывались, а я его краснеть заставил. Правда, и моя морда была красной, но в этом я сам виноват и не мне скулить.

Постарайтесь попасть на 11-й лагпункт. Там большая часть расконвоированных работает на конбазе, и поэтому годную тряпку всегда сможете обменять. Мне прошлый раз за гимнастерку дневальный Дронов насыпал поллитровую банку овса и еще дал чистый лист бумаги на письмо. Нет, правда, если будет возможность, то постарайтесь попасть на 11-й лагпункт.

Как только нас запустили в зону, так мы сразу рассыпались в разные стороны. Кто куда. Рыскали весь день. Я уж говорил, что достал овес и чистый лист бумаги. Письмо я не написал, не успел, я все пытался хлёбово сварить. Место новое, не просто. Только к вечеру удалось. Потом нашел я тихий угол и уж ложку занес над овсом, как вдруг увидел Фарида. Он брел ко мне.

Улыбка беспомощная, жалкая. Фарид не смотрел ни на меня, ни на банку с овсом, а смотрел куда-то в сторону и в то же время он глядел на банку и именно на меня. По походке, рукам, плечам было видно, что за его гимнастерку дневальный Дронов не дал ничего.

Мне и сейчас стыдно вспомнить это. Думается, что теперь я б так не поступил, я б сам пошел искать Фарида. Но с другой стороны, ручаться не могу. Может, брось меня опять туда, и я опять дерьмом окажусь.

За полгода до конца моей службы в армии застряли мы под Архангельском. А так до этого на одном месте долго сидеть нам не давали.

Служба была такая.

Нет, вы поглядите, глупость какая получается. Взялся я рассказывать, а мне говорить-то нельзя.

Дядь Лев, чтоб присяге не изменить, давайте я дураком прикинусь и потихоньку без имен и названий добью свой рассказ. А вы вопросы не задавайте. Договорились?

Подняли нас ночью и со всеми котелками, автоматами, пулеметами погрузили в самолет. Летели мы на нем пару часов, а потом на грузовиках тряслись до самого конца.

Еще на аэродроме раздали нам резиновые костюмы, противогазы. Но пригодилось все это только тем, кого в поселок послали; а мы в оцеплении, километрах в семи от него стояли,

так что костюмы нам оказались ни к чему. Вот противогазами пользовались, но это когда ветер дул в нашу сторону. О поселке том мало что знаю. Нам сказали, ссыльные в нем живут. Эпидемия у них. Многое непонятно, но, видать, все правильно было. Начальство благодарность вынесло, а когда мы обратно вернулись, то прямо у штаба деревья посадили. Целая аллея получилась. Это в честь отличившихся. Дядь Лев, я не хвалюсь. И мое там дерево есть. Нет, правда, вот смотрите, как получилось. Был приказ: в поселок никого не пускать и оттуда чтоб никто не вышел.

Едем мы на машине с Евтюшкиным. По сторонам смотрим, уж просеку миновали. Я только потом сообразил, что мелькнуло в ней что-то. Я обратно. Машину остановил и туда. Толик мне хоть и земляк, но лучше б собака была вместо него. Тогда б мужика того точно живьем взяли. А так пришлось его из автомата. Боязно было, что уйдет. В телогрейке, лет сорок пять ему. Никак не пойму, что с лицом у него. То ли обморожено, то ли обожжено…

Дядь Лев, мне один сказал, что настоящий мужчина должен убить змею, посадить дерево, сына оставить после себя.

Дядь Лев, смотрите: змею я убил, дерево посадил и теперь выходит, что мне только сына не хватает, чтоб мужчиной настоящим стать?

В троллейбусе едет свинья в пиджаке, лет 32–40. Квадратная. Жена с ним, а еще на нем галстук. Жена ему давно опротивела. Смотрит на нее с омерзением. А она, маленькая, даже не маленькая, а сухонькая, вся в тревоге за себя, а главное, за сокровище такое. И вот он сказал, то есть, изрыгнул нечто такое, что позволило ему рассмеяться. Это что-то о ней сказал. Сказал, конечно, обидное, и вот звуки издает, похожие на смех. Как оскорбителен этот смех. А она, сухонькая, привыкла, но тут люди, стыдно, нужно, чтоб хорошо все было, и она захихикала. Они вместе смеялись и это совсем плохо. Такая беда. Беда беспросветная, беда окончательно прилипшая, беда, из которой выхода нет совсем.

Теперь об этом все знали. Виктор пришел вечером. Стоя у открытой двери, с трудом подбирал слова. Он сказал, что я не должен так поступать, что беда получится, что так было и у него, да всегда это было ошибкой и всегда плохо кончалось.

Я сказал: «Ты, наверное, прав, я глупо поступаю. Говоришь, у тебя так было, было не раз. Не сердись, я не хотел тебя огорчить, но дай ошибиться и мне».

Он ушел в темноту. Ночные бабочки бились о стекло

керосиновой лампы.

Валька Венсков застенчивым был; я думаю, это из-за того, что картавил он сильно.

А Ленька Соколов мне запомнился добродушным, и еще помню, он все к цыганам хотел уйти…

Самым положительным из нас был Колька Осипов. Аккуратный, учился хорошо. Почерк у него ровный, и воротник не смят.

У нас школа была смешная. Мы просто не могли не смеяться в ней. Смех этот житья нам не давал. Это из-за него нас выгоняли с уроков, вызывали родителей. Это из-за него мы совсем обессиленные выползали из класса.

А вот Кольке Осипову беда эта не грозила. Прижмется к парте, съежится, вот и весь его смех. Только спина и плечи чуть вздрагивают. Учителя и не догадывались, что он смеется.

Потом увезли меня от дома, а вернули лет через 12–13.

Пошел я проведать ребят, а они мужчинами стали.

Валька Венсков женился. Жену взял с ребенком. Пьет она, и Валька стал пить.

Ленька Соколов работал шофером, а потом за водку перевели его в подсобники. Тоже женат, ребенок есть.

Многое изменилось за эти годы; и потому странно было видеть ту же пыль за этажеркой, тот же фикус в углу комнаты, ту же вату с блестками между рам, тот же гриб на подоконнике в стеклянной банке из-под огурцов.

Колька Осипов стал — писателем. Сперва вышла его брошюра о борьбе с лесными пожарами, потом для детей стал писать сказки, рассказы. Теперь он книгу написал о классовых битвах в Западной Германии.

Жена у него — химик в Менделеевском институте. Квартира большая. Мебель полированная, низкая.

И столик журнальный есть.

Девчонка светилась радостью. Она о чем-то взволнованно говорила подружке. Как будто произошло что-то очень важное. Когда они промелькнули мимо, то я понял, что это действительно было так.

Я услышал, как она сказала: — Нет, ты представляешь? Он посмотрел на меня и сказал «здравствуйте», а я в ответ ему: «драсьте», — и она счастливо засмеялась.

Завидуйте, вожди, завидуйте, философы, завидуйте, пророки и боги! Вам не удалось бы сделать смех девчонки более счастливым, чем это сделал тот, кто сказал ей «здравствуйте».

Чудной был Васька Крысин. Морда круглая, добрая. Он, и правда, добрый был. А мы терпеть его не могли. Из-за голода, конечно. Каждый переносил голод, как мог, а Васька придумал по-своему. Он пытался убедить себя в том, что еды ему хватает. Мы страшно злились на него, а он — на нас. До хрипоты, до остервенения доходили. Кричали ему: «Ну, а если тебе еще 50 грамм хлеба дадут, ты что, и этого не мог бы съесть?» — «Да нет, ни крошки больше мне не надо. В глотку мою не полезут эти граммы. Сыт я. Сыт». И слезы были в голосе. Сейчас мне жалко Ваську, а тогда злился на него. Глупый я был и голодный.

В марте многие умирали, и Васька умер в марте.

Какая беда. Как судьба нас корежит. Покоя нет опять. Только теперь тоска не по исторической родине, а по той — другой. И еще по реке, лесу, траве, и еще просто по мягкой земле. Говорю им, что и здесь есть земля, вода, деревья, зелень. А они злятся. Я объясняю им, что здесь намного красивее. Краски здесь какие. Голубизны здесь сколько. Показываю на камни. Глядите, ведь вроде серые, а оттенков в них сколько, что вовсе не серые они. Ведь правда, чудо какое? Только злиться на меня зачем? Зачем же так, до остервенения? Думаете, я лгу себе и вам? Лгу, чтоб спрятаться от тоски? Да откуда ей взяться, этой тоске? Сами не знаете, что говорите. С прошлым покончено, его просто не было. Я вспоминать о нем не хочу и думать о нем не собираюсь. Не хочу видеть широкие реки. Не хочу подкрадываться к притихшим озерам. Не хочу глядеть на густые леса. Бродить по ним не хочу. Не хочу сидеть на мшистом пне. Не хочу слушать пение птиц. Не хочу утопать в душистом ковре — в ковре золотом осенних листьев.

Пояснение слов

баклан — не настоящий вор, пижон
БУР — барак усиленного режима
вертухай — охранник
вохровский ларек — ларек для охранников и их семей
голубых кровей — настоящий вор
землянули — заставили изменить воровскому закону
кореш — товарищ
лекпом, **лепила** — помощник лекаря
лепеха — костюм
мужик — работяга, то есть, не блатной
отказчик — отказавшийся работать
ссучился — изменил воровскому закону
тошнотики — лепешки из гнилой картошки, оставшейся в земле с прошлогоднего урожая
финстружка — широкая дранка (приблизительно 120х300 мм), которой покрывают крыши бараков
шмон — обыск
шнифт — глаз

notes

Примечания

1

То есть, МГБ.

2

Хамсин — сухой ветер из пустыни. Действует на психику.